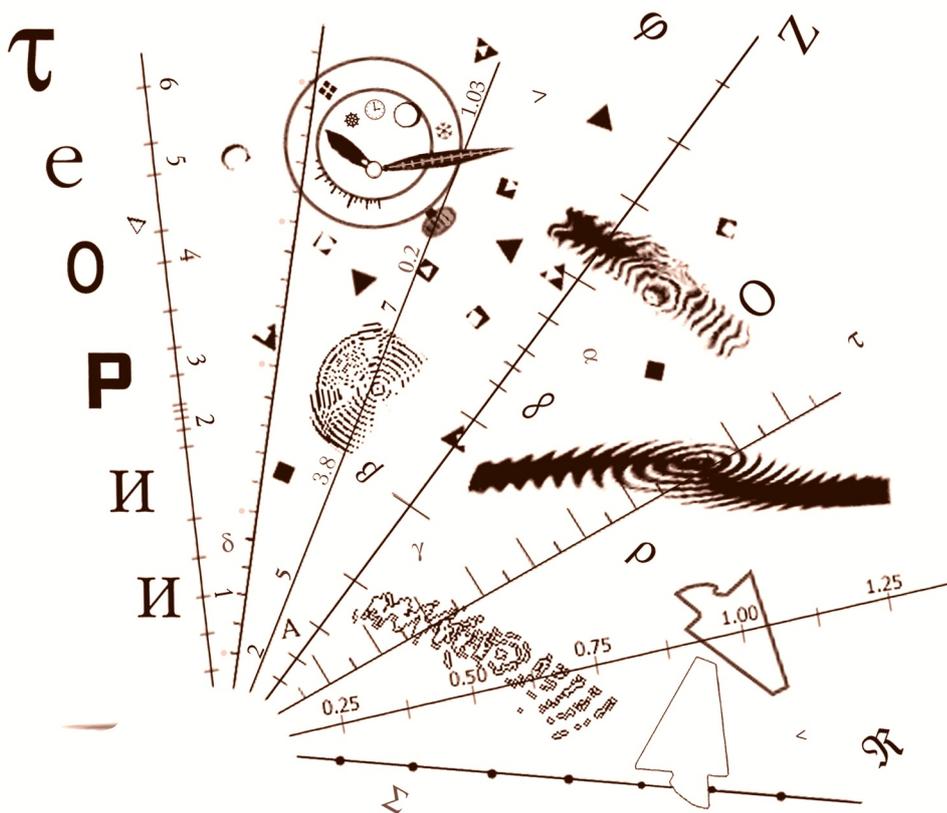




ПРОФИТРАКТИВНО И

ВРЕМЯ

В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В
СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Сборник Российско-французского центра
философии и социологии
Института социологии Российской Академии наук

Москва
2000

УДК 316.1
ББК 60.5
П 82

Редколлегия:

д.ф.н. Качанов Ю.Л. (ответственный редактор), Бикбов А.Т. (редактор-составитель)

Авторский коллектив:

А.Т.Бикбов, П.Бурдьё, С.М.Гавриленко, С.В.Дамберг, В.П.Елизаров,
Е.Ю.Кольцова, Е.Р.Ярская-Смирнова

Рецензенты:

д-р филос. наук, проф. В.А. Ядов
д-р филос.наук Н.Н. Козлова
канд.социол.наук И.Ф. Девятко

Пространство и время в современной социологической теории /Под ред.
Ю.Л.Качанова, А.Т.Бикбова. — М.: Институт социологии РАН, 2000. —
с. 156

ISBN 5-89697-050-1

Сборник посвящен анализу пространственно-временной структуры современных социологических теорий, а также исследованию границ и условий применимости категорий пространства и времени в эмпирической работе. Наряду с деконструкцией и раскрытием социальной обусловленности теоретического знания в социологии (на примере теорий Парсонса, Фуко, “колониальной социологии” во Франции и ряда других), вниманию читателя предлагаются эмпирические исследования, обращенные к пространственной организации коммуникации в интеллектуальной среде XVI-XVII вв. и к прагматическому аспекту коммуникации в современном поле журналистики. Помещенные в сборник тексты выступлений ведущего французского социолога П.Бурдьё раскрывают ряд задач и методологических положений, которые обычно остаются за рамками прочтения его наиболее известных работ.

Сборник рассчитан на практикующих исследователей, специалистов в области теоретической социологии, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, стремящихся расширить хрестоматийные представления об истории и предмете социологии, а также на широкий круг интеллектуалов.

УДК 316.1
ББК 60.5

ISBN 5-89697-050-1 © Институт социологии РАН, 2000
© Авторы статей, 2000

Содержание

Начала

БУРДЬЕ П. ЗА СОЦИОЛОГИЮ СОЦИОЛОГОВ _____ 5

БИКБОВ А.Т. ИММАНЕНТНАЯ И ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ПОЗИЦИИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ _____ 12

Теория в действии

БУРДЬЕ П. PASSPORT TO DUKE _____ 34

БИКБОВ А.Т., ГАВРИЛЕНКО С.М. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА
СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ КАК ФОРМА ОБЪЕКТИВАЦИИ
ВЛАСТНОГО ИНТЕРЕСА ТЕОРЕТИКА: ПАРСОНС/ФУКО
_____ 43

ДАМБЕРГ С.В. КОНСТРУИРУЮЩАЯ ДИАДА _____ 88

Исследования

КОЛЬЦОВА Е.Ю. РАЗОРВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ЖУРНАЛИСТОВ
_____ 107

ЕЛИЗАРОВ В.П. “РЕСПУБЛИКА УЧЕНЫХ”: СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО “НЕВИДИМОГО СООБЩЕСТВА”
_____ 137

Метафора в действии

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Е.Р. СПАЦИАЛЬНОЕ И ТЕМПОРАЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ НЕТИПИЧНОСТИ
_____ 172

Начала

П. Бурдьё
За социологию социологов¹

Мне хотелось бы рассмотреть один очень общий вопрос, а именно, вопрос о социальных условиях возможности и научных функциях социальной науки о социальной науке на примере специфического случая колонизированных и деколонизированных стран. Импровизированный характер моего выступления может привести к некоторым немного смелым положениям... И все же стоит рискнуть.

Вопрос первый: мы решили говорить о социальной истории социальных наук и т.п. Но представляет ли это какой-либо интерес? Это тот тип вопроса, который никогда не задают и если мы здесь собираемся об этом говорить — значит, считаем это интересным. Сказать, что мы интересуемся некоторой проблемой — это завуалированный способ указать на тот фундаментальный факт, что у нас имеются жизненные ставки в научном производстве. Они не являются прямыми экономическими или политическими интересами, а существуют как бескорыстные: особенность интеллектуалов состоит в том, чтобы иметь бескорыстный интерес, т.е. иметь интерес к незаинтересованности. Мы интересуемся теми проблемами, которые нам кажутся интересными. Это означает, что в какой-то момент времени какая-то научная группа, не спрашивая ни у кого на то разрешения, решает, что такая-то проблема является интересной: появляется семинар, создаются журналы, пишутся статьи, книги, отчеты. Это означает, что тема “выгодная”, приносит прибыль, и не столько в виде авторских прав (хотя это может играть роль), сколько в виде престижа, символического вознаграждения и пр. Все сказанное является лишь вступлением к тому, чтобы напомнить, что нужно бы запретить заниматься

¹Выступление на семинаре “Этнология и политика” в Магрибе, Жюссье, 5 июня 1975 года, опубликованное в *Le mal de voir*, Cahiers Jussieu 2, Université de Paris VII, coll. 10/18, Union général d'éditions, 1976, pp. 416-427. Перевод выполнен по книге: *Pierre Bourdieu Questions de sociologie*, Minuit, 1984.

социологией, особенно социологией социологии, без предварительного или одновременного социологического анализа самого социолога (если только он когда-нибудь полностью осуществим). Для чего нужна социология науки? Зачем заниматься социологией колониальной науки? Нужно обратиться к субъекту научного дискурса те вопросы, которые ставятся по отношению к его объекту. Каким образом (*de facto* и *de jure*) исследователь может ставить относительно своих предшественников вопросы, которыми он не задается, и наоборот [почему он не может поставить относительно них ряд вопросов]?

Есть некоторый шанс правильно понять ставки научных игр прошлого, если только сознавать, что прошлое науки является ставкой современной научной борьбы. Стратегии реабилитации часто скрывают стратегии символической *спекуляции*: если вам удастся дискредитировать традицию, которой придерживается ваш интеллектуальный соперник, то курс его акций понижается. Когда говорят, что структурализм или марксизм, или структурало-марксизм “устарели”, то имеют в виду именно это. Одним словом, нужно спросить себя о том интересе, который приводит к занятию социологией социологии или социологией других социологов. К примеру, было бы легко показать, что социологические исследования о правых интеллектуалах почти всегда делаются левыми интеллектуалами, и наоборот. Частичная истинность этих объективаций связана с существованием интереса к тому, чтобы видеть истину своих соперников, видеть то, что их детерминирует (правые интеллектуалы почти всегда являются материалистами, когда речь заходит об интерпретации левых интеллектуалов). Единственно, что всегда упускается — поскольку это вынуждает спросить себя о том, зачем делается что-то одно или другое, какой интерес преследуется и т.д. — так это система позиций, исходя из которых возникают указанные антагонистические стратегии.

Если признать, что единственная функция социальной истории социальных наук — показать смысл существования исследователей социальных наук, и что она не нуждается в другом оправдании, то следует спросить себя, имеет ли она какое-нибудь значение для современной научной практики.

Является ли наука о социальной науке прошлого условием той работы, которую должна выполнить социальная наука сегодняшнего дня? И еще точнее, является ли социальная наука о “колониальной науке” одним из условий истинной деколонизации социальной науки только что деколонизированного общества? Я бы рискнул признать, что прошлое социальной науки всегда является ее основным препятствием, и особенно, в интересующем нас случае. В работе “Эволюция педагогики во Франции” Дюркгейм сказал примерно следующее: бессознательное — это забывание истории. Я думаю, что бессознательное дисциплины — это ее история; бессознательное есть затемненные, забытые социальные условия производства: продукт, отделенный от социальных условий его производства, изменяет смысл и оказывает идеологический эффект. Знание того, что действительно делают, когда занимаются наукой (простое определение эпистемологии), предполагает, что знают как исторически формировались проблемы, инструменты, методы, понятия, которыми пользуются. (С точки зрения этой логики, нет ничего более насущного, чем создать социальную историю марксистской традиции — чтобы поместить в исторический контекст его производства и последовательного использования те способы мышления и выражения, которые были увековечены и фетишизированы в силу исторического забвения).

По-моему, социальная история “колониальной науки” интересна с единственной точки зрения, а именно, с точки зрения прогресса науки о современном обществе (например, алжирском). Это было бы вкладом в познание категорий мышления, при помощи которых мы мыслим это общество. Дискуссии сегодняшнего утра показали, что колонизаторы, господствующие, оказавшиеся под властью собственного господства, стали первыми жертвами своих же интеллектуальных средств. Кроме того, они могут “поймать в ловушку” тех, кто, довольствуясь лишь “ответными действиями” против них и не понимая социальных условий их работы, рискует впасть в обратную ошибку и, в любом случае, лишает себя единственных имеющихся сведений относительно некоторых предметов. Чтобы понять то, что нам досталось в наследство — корпус текстов,

факты, теории — нужно, стало быть, заняться социологией социальных условий производства этого объекта. Что это означает?

Невозможно заниматься социологией социальных условий производства “колониальной науки” без того, чтобы изучить сначала возникновение относительно автономного поля науки и социальные условия его автономизации. Поле есть универсум, в котором характеристики производителей определяются по месту, занимаемому ими в некотором пространстве объективных отношений. В противоположность тому, что предполагает изучение изолированных индивидов, пример которого представляет практика истории литературы в жанре “человек и произведение”, нужно искать наиболее важные свойства каждого производителя вне его, в объективных отношениях его с другими производителями, в отношениях объективной конкуренции и т.д.

Речь идет о том, чтобы сначала определить, каковы были специфические свойства поля, в котором “колониальная наука” Маккерейя, Деспармета и других Монье производила свой дискурс о колониальном мире, и как эти свойства изменялись в зависимости от того или иного периода. То есть необходимо проанализировать связи, которые это относительно автономное поле поддерживало, с одной стороны, с колониальной властью и, с другой, с центральной интеллектуальной властью, т.е. с наукой метрополии того времени. На самом деле существует *двойная зависимость*, при которой одна сторона может аннулировать влияние другой. Мне кажется, что это поле в целом характеризовалось (за исключением Дутте, Монье, др.) очень сильной зависимостью от колониальной власти и очень сильной независимостью от [тогда] национального, [а сегодня] международного научного поля². Из этого вытекает множество свойств подобного “научного” производства. Затем следовало бы проанализировать, как изменилось отношение этого поля с

² До провозглашения независимости 1 июля 1962 Алжир был колонией Франции, поэтому после 1962 года французская социология, ранее выступавшая в качестве “национальной” в Алжире, стала частью “международной” (прим. перев.).

национальной и интернациональной наукой и местным политическим полем и как эти изменения отразились на производстве.

Одним из важных свойств поля является то, что оно окружено неосмысленным, то есть чем-то таким, что даже не обсуждается. Существует ортодоксия и ересь, но также существует докса, то есть целый комплекс принимаемого само собой разумеющимся, и в частности, системы классификаций, определяющих, что считать интересным и неинтересным. Это то, о чем никто не думает как о заслуживающем проговаривания, поскольку нет *спроса*. Сегодня утром много говорили о таких очевидных вещах, и Карл-Андре Жюльен упомянул о совершенно удивительном для нас интеллектуальном контексте. Наиболее скрыто то, с чем все согласны, причем согласны настолько, что об этом даже не говорят, не спрашивают — это идет само собой. Именно это рискуют совершенно упустить исторические документы, потому что никто не думает записывать то, что само собой разумеется: информаторы об этом не говорят или сообщают только через упущения, своим молчанием. Занимаясь социальной историей социальных наук, важно интересоваться вещами, о которых никто не говорит, если только не имеет в виду доставить себе удовольствие раздачей упреков и похвал. Речь идет не о том, чтобы стать судьей, а о том, чтобы определить, почему эти люди не смогли понять некоторых вещей, поставить некоторые проблемы, и о том, чтобы установить, что является социальными условиями ошибки, которая неизбежна (поскольку является продуктом исторических условий и детерминаций). В этом “само-собой-разумеющемся” эпохи есть то, что не мыслится *de jure* (политически, например), неназываемое, табу (проблемы, которыми нельзя заниматься), но есть также и то, что не мыслится *de facto*, что нельзя осмыслить в рамках данной системы мышления. (Именно это приводит к тому, что ошибка не зависит от хороших или плохих намерений и что при хороших намерениях можно создавать отвратительную социологию).

Внимание к этому позволило бы поставить иначе — чего обычно не происходит — проблему о предпочтительном отношении к предмету, отношении включенности или

отчужденности, “симпатии” или “антипатии” и т.д., внутри которой часто замыкается дискуссия о колониальной социологии и возможностях ее деколонизации. Я думаю, что нужно заменить вопрос о предпочтительной точке зрения вопросом о научном контроле отношения к предмету, который, по-моему, является одним из фундаментальных при конструировании действительно научного предмета. Каким бы ни был предмет, выбираемый социологом или историком, при характеристике этого предмета и способа его конструирования, речь идет не о социологе или историке как отдельных субъектах, но об объективной связи социальных характеристик, свойственных социологу, и социальных характеристик самого предмета. Предметы социальных наук и способы их описания всегда состоят в интеллигентной связи с исследователем, которого можно определить социологически, т.е. с помощью таких показателей, как социальное происхождение, позиция в университете, научная дисциплина и т.д. К примеру, я думаю, что одним из посредников, с помощью которых в рамках науки осуществляется господство доминирующих ценностей, является социальная иерархия дисциплин, которая отводит философии место на вершине, а географии в самом низу (это не оценочное суждение, но констатация факта: по мере движения от философии к географии или от математики к геологии отмечается более низкое социальное происхождение студентов). В каждый момент времени существует иерархия объектов исследования и иерархия субъектов исследования (исследователей), эти иерархии в значительной мере способствуют распределению объектов между субъектами. Учитывая, кто вы есть, никто не скажет вам никогда (или редко): Вы имеете право на этот предмет, а не на другой; на этот способ работы с ним (“теоретический” или “эмпирический”, “фундаментальный” или “прикладной”), а не на другой; на такой-то способ (“блестящий” или “серьезный”) представления результатов. Чаще всего такие *призывы к порядку* не нужны, так как достаточно позволить действовать внутренней цензуре, которая есть не что иное, как интериоризированная социальная и образовательная цензура (“Я не теоретик”, “Я не умею писать”). Таким образом, нет ничего менее социально нейтрального, чем

отношение между субъектом и объектом.

Итак, важно знать, каким образом объективировать отношение к предмету, чтобы дискурс о нем не являлся бы простой проекцией бессознательного к нему отношения. В число средств, которые делают возможной такую объективацию, входит, конечно, весь научный аппарат, но при этом нужно иметь в виду, что он сам должен быть подвергнут исторической критике, потому что всегда является наследием предшествующей науки.

И в заключение добавлю, что проблема привилегии “иностранца” или “аборигена”, несомненно, скрывает реальную проблему, которая возникает, идет ли речь об анализе ритуалов кабиллов или о том, что происходит в этом зале, на студенческой манифестации или на заводе Бийянкура. Это проблема знания о том, что такое быть наблюдателем или активным участником ситуации, или знания о том — одним словом — что такое практика³.

*перевод с французского Ю.В. Марковой
отредактирован Н.А. Шматко*

³ Более подробное развитие этой темы можно найти в работе: P. Bourdieu. *Le champ scientifique*// *Actes de la recherche en sciences sociales*, 2-3, juin 1976, pp. 88-104.

А.Т. Бикбов

Имманентная и трансцендентная позиции социологического теоретизирования

Настоящая работа наследует духу наиболее живой и парадоксальной части сочинений Канта — полемическим приложениям к его основным трудам, точнее, одному из тезисов: “Основоположение, всецело направляющее и определяющее мой идеализм... гласит: “Всякое познание вещей из одного лишь чистого рассудка или чистого разума есть одна лишь видимость, и истина только в опыте”” [1, с.142]. Сегодня именно современная теория современного общества является местом обитания этого духа, который устремлен вглубь, но наталкивается обычно на нехватку открытости к его веянию. Отмечая его самодвижение, следует иметь в виду, что у нижеследующего текста нет настоящего автора. Фамилия над заглавием указывает лишь на объем усилий и времени, положенных на проработку исходных посылок, генерализацию тезисов, выстраивание серии реплик. Тогда как теоретические позиции, выведенные здесь под аббревиатурами “И” (имманентное теоретическое видение) и “Т” (трансцендентное), уже давно существуют, развиваются и сталкиваются во множестве локальных битв. В данной статье предпринята попытка представить их родовые признаки. И все же, разворачивающийся ниже диалог не есть самостоятельное взаимодействие безличных сил. Он формировался в процессе непосредственного общения, а потому следует представить участника, который оппонировал автору статьи и открыл ему в живой полемике ряд опорных тезисов “Т”-позиции, обращенных к “И”. Это А.Н.Дмитриев, петербургский исследователь в области истории социологии и социологии знания. Следует упомянуть еще одного живого участника, чье неустанное научное влияние сыграло роль условия и предпосылки как постановки проблемы позиции теоретизирования, так и самого

социологического взгляда автора статьи. Это московский социолог-теоретик Ю.Л.Качанов. Ему, в частности, принадлежит кристаллическая формула “И”-метода: найти социальное содержание трансцендентального означаемого — которая претерпевает некоторую трансформацию в статье, развивающейся в собственной логике.

Предпринятая работа направлена на преодоление сложившегося в восприятии российских социологов предубеждения против неметафизических теорий общества, представленных, в частности, “исторической онтологией” Бурдье или социальными “генеалогиями” Фуко. Оценки их деятельности, конечно, разнятся, и здесь многое зависит от того взгляда, который практиковал социолог прежде: если он изучал совокупность общественных подсистем, анализировал классовую структуру советского общества, выделял функциональные показатели, открытая структура последних социологических концепций раздражает его или приводит в недоумение. Если же он, только выйдя из стен высшего учебного заведения, окрылен радужной полнотой возможностей, охватывающих горизонт социальной теории от феноменологии до постструктурализма, от классовой теории до теории коммуникативных систем, его интерес к последним достижениям скорее имеет характер восторженного признания, даже ожидания чего-то великого и таинственного. Между тем, как для противников, так и поклонников, самые современные теории, если можно так выразиться, теории еще живущих, носят, все же, оттенок чуждого соблазна. Редко в российской социологии можно встретить исследование, выполненное на основании тех приемов и предпосылок, которых требует дух современного объяснения общества, совмещающего строгость классического подхода с обращением к случайности и произволу социального мира. А потому в целом ситуация, наследующая теоретическому монизму советского периода, продолжает походить на ту, которая иронически описана Кантом: “Кто-нибудь, никогда не слыхавший о геометрии... нашел бы [“Начала”] Евклида и,

наткнувшись при перелистывании книги на множество фигур, сказал бы: “Эта книга есть систематическое наставление к рисованию; автор пользуется особым языком, чтобы давать неясные, непонятные предписания, которые в конце концов могут привести лишь к тому, что всякий может сделать с помощью хорошего естественного глазомера” [1, с.141-42]. Распространенной в российской социологии верой в этот “естественный глазомер”, отвергающей “неясные предписания”, и оправдывается актуальность настоящей работы. Она призвана раскрыть те основоположения и ходы, на которые опирается актуальная социология, продемонстрировать в первом приближении те послышки и выводы, которые налагают ограничения на теорию общества, делая одинаково недопустимым как ее сведение к “глазомеру”, так и к роли магического ключа ко всем тайнам социального мира.

Форма диалога, принятая в настоящей статье, лучше всего способствует экспликации различий и взаимных ограничений, которые в отношении друг друга образуют трансцендентный и имманентный подходы. Полемика — исходная ситуация становления концепций и обогащения точек зрения. Очевидно, что в ней здесь и теперь будет представлен преимущественно имманентный подход. Во-первых, потому что трансцендентный весьма давно и полно говорит о себе сам, и в Западной социологии, и в российской. Достаточно перечислить имена только некоторых его представителей: М.Вебер, Т.Парсонс, Д.Истон, Н.Луман, Дж.Коулмен, А.Турен, Р.Будон, Б.Г.Юдин, Т.И.Заславская, А.Ф.Филиппов. Во-вторых, ввиду обозначенных выше целей: агрегируя в репликах диалога то общее, что можно выделить в каждом из подходов, автор взял на себя задачу представить имманентную точку зрения на суд базовой для отечественной социологии трансцендентной (берет она начало в метафизике или здравом смысле), заинтересовать ее, вызвать сомнения и последующие вопросы. Ведь одна фамилия над текстом диалога — это, прежде всего, символ ностальгии по реальной научной дискуссии, в которой только и есть жизнь.

Т: Как возможно научное объяснение общества? Только если под именем социального понимается совокупность объективных фактов, не зависящих или, по крайней мере, не сводимых к какой-то частной интерпретации. Возможность универсального опыта социального познания гарантирует нам объективность социальных фактов. Даже в понимающей социологии М.Вебера смысл социального действия объективен, поскольку возможна универсальная (единая) его интерпретация. Что связывает объективные факты между собой и позволяет социологу говорить о едином предмете своей науки? Очевидно, некая каузальность, превращающая общество в самостоятельно развивающуюся реальность — причинные отношения, связывающие все элементы общества и образующие, тем самым, его тотальность. Тогда социологическая теория призвана обнаруживать эту каузальность и описывать ее универсальные характеристики. А гарантируют достоверное теоретическое описание таковых универсальные свойства теоретического разума: общество потому постижимо, что разум, его познающий, имеет все необходимые условия для его познания. Эти условия состоят, во-первых, в универсальных способностях самого человеческого разума, а во-вторых, в сумме открытий и объяснений, которые при их использовании были даны в рамках европейской традиции мышления за всю историю ее существования. Эта традиция была и остается высшей формой истории общества, а социологическая теория, которая ей наследует, выступает саморефлексией общества (рефлексивным самоосуществлением ее истории), поскольку имеет своим предметом общество как таковое.

Исходным первоэлементом общества является человек, которого социологическая теория понимает как субъект. Это означает, что человеку присущи неотъемлемые универсальные характеристики: разумность, воля, свобода выбора. Система социальной каузальности, таким образом, не поглощает всего человека: она только организует его совместную с другими

людьми жизнь. Роли, нормы, калькулятивная рациональность не охватывают вполне человеческого существа: остается всегда внутренне присущая субъекту исходная свобода, которая служит источником изменения, выбора, подчинения или протеста. Следовательно, можно говорить, что для социолога существуют два независимых вида универсальных явлений: универсальные свойства субъекта и таковые общества. Поэтому в социологии мы, с одной стороны, не изучаем свойств субъективности — поскольку они универсальны и не опричинены социальными связями. А с другой, пренебрегаем явлениями, которые не существенны для объяснения тотальности общества — в фокус теории должно попадать не множество отклонений или отдельных фактов, а универсальная логика общества, его нормальная форма существования. Благодаря дистанции, образующейся в результате указанных разграничений между реальностью общества и разумом теоретика, последнему открывается система объективных связей, которая обуславливает действия людей. Теоретик, дистанцированный и словно очищенный от всякого рода частной вовлеченности в общество (будь то политическая ангажированность, эстетические пристрастия или обыденный опыт), наблюдает каузальные связи, оказываясь вне их действия.

И: Давайте сначала озаботимся вопросом: каково практическое условие теории общества? Можно ответить: институционализированное разделение научного труда. Можно: существование собственного предмета и метода у социологии как науки. Можно, наконец, говорить о критической массе данных, не обязательно полученных в результате собственно социологического описания и анализа, но при этом структурированных таким образом, чтобы допускать существование социального как не сводимого к не-социальному: психическому, биологическому, физическому. Последнее из указанных условий обнаруживает свою исключительную роль в период становления социологии как науки (например, когда Дюркгейм и Мосс опирались в создании теории общества на

этнографический материал) и вообще тогда, когда границы социологии расширяются за счет введения новых способов тематизации (анализ обыденного опыта в этнометодологии или механизмов смыслополагания в исследованиях социальной коммуникации). Все указанное составляет действительные условия социологической теории. Основным вопросом, в этом случае, становится следующий: возможна ли такая социологическая позиция, из которой находящемуся в ней теоретику доступны во всей полноте эти условия или хотя бы одно из них? То есть может ли теория, понимаемая как результат профессиональной деятельности, достигать в частном случае (как плод интеллектуальных усилий ученого или практической группы) той же полноты, какую она получает в рамках социологического сообщества в целом (в том числе, как воспроизводящегося во времени)? Вправе ли социальный теоретик, не поступившись истиной собственного предмета, повторить Гегелеву формулу: социология заканчивается во мне? Для нас представляется очевидным отрицательный ответ на эти вопросы. Отрицательным в силу единственной констатации, на которой строится последующее рассуждение: для объяснения социального мира, которому социология *не противопоставлена как не-социальное*, конститутивна социальная детерминация, а не чистый разум. А потому “социология как саморефлексия общества” оказывается только малосодержательной метафорой. Подобно тому, как в силу общественного характера “природные задатки человека (как единственного разумного существа на земле), направленные на применение его разума, развиваются полностью не в индивидуе, а в роде” [2], частная позиция социологического теоретизирования (или теоретик) существует ввиду и в связи с множеством других, а значит, не способна претендовать на полноту выражения истины о социальном мире. В противном случае имела бы место единственная истинная теория и множество заблуждений и отклонений вокруг нее. А подобный тезис в наше время не отважится принять даже самый радикальный сторонник трансцендентного видения. Также и

социологическое сообщество в целом не может пониматься как единственная инстанция рефлексии общества: в этом случае нужно было бы отказаться в рефлексивности каждой конкретной социальной позиции, начиная с наименее вовлеченных в культурное производство (где рефлексия может актуализироваться в фольклоре и диффузных символических практиках), заканчивая центральными в его рамках (как, например, философия, религия или литература). Каким же, если не дедуцируемым из способности мышления, предстает для нас социологическое теоретизирование?

Прежде всего, оно опирается на исследовательскую практику. А социологическое исследование обеспечивает прирост знания при изучении не общества как такового, но множества практических сфер, социально упорядоченных регионов событий. Поэтому социологическая теория в качестве своего *а priori* имеет пространство социальных различий (точнее, набор гипотез, претендующих на полноту описания таковых), которое приобретает форму суждений о социальном порядке в теории, реконструирующей условия действительности практических перспектив агентов, в чьем взаимодействии эти различия разворачиваются. Такая особенность социологического видения, которую Бурдье называет “наиболее систематической тотализацией” [3], отличает его одновременно от обыденного восприятия и от взгляда “небесного наблюдателя”. Позиция социолога оказывается здесь не привилегированным местом *над* социальным пространством, но *другим местом практик* — одним из множества мест, конституирующих социальное пространство как пространство различий и конкурирующих за способ его определения. Отсюда, неустранимым принципом имманентной социологической теории оказывается рефлексия исследователем собственной социальной определенности, той перспективы, которая предпослана ему как социальному агенту. Присвоение же себе позиции, трансцендентной социальному миру, и вынесение социологом себя за скобки анализа приводит к навязыванию укорененных в его частной перспективе

дореклексивных, то есть донаучных, стереотипов, которые преподносятся от имени науки.

Т: Однако сама возможность социологического описания общества исходит из той предпосылки, что социолог является субъектом знания. Это делает возможным знание об устройстве общества, которое не зависит от различия в способах его интерпретации. Если мы описываем, например, ту или иную политическую систему, это возможно потому, что с позиции знания мы рефлексируем отношения власти, то есть выделенная позиция обеспечивает нам точку трансценденции власти. Между тем, принципиальным вопросом к имманентной концепции социологии всегда остается: как возможно нетавтологическое описание отношений власти, если, как в случае Фуко, власть оказывается “повсюду”. Чем отличается в таком понимании социология и политика, и не оказывается ли тогда сам термин “власть” полным синонимом социального, каким его могут видеть и политик, и теоретик, и торговка овощами?

И: Разделение, которое рефлексивную заданность социолога к социальному миру сводит к отношению субъекта и объекта знания, наилучшим образом демонстрирует характер предпонимания, не устранимого из трансцендентного теоретизирования в целом. В приведенном Вами примере предпонимание включает в себя мир, лишенный знания, но наделенный властью *versus* социолога, наделенного знанием, и, надо полагать, не вовлеченного во властные отношения (представление, рельефно проявившееся в построениях Парсонса). Социолог рассматривает социальный мир, заранее противопоставленный ему по субстанциальному признаку, как это в явном виде это делает Декарт, дихотомизируя субстанции. Такой социологический взгляд описывает общество не как доступное ему в меру подобия (например, индивидуальные практики как действия подобных себе индивидов), но как подобную физическому миру совокупность объектов, изначально лишенных собственной рефлексивности, распоряжение которой он оставляет за собой.

В противоположность этому, имманентная концепция социального опирается на локальные, специфические для каждой изучаемой области, различия, которые агрегируются в объяснительные схемы на основании того общего, что эти области имеют между собой, а именно на основании дальнейшей нередуцируемости социального агента как разумно-телесного существа, чьи конкретные свойства обусловлены практикой, но не тождественны ей. Более показательным образцом объяснения выступает даже не Фуко, с его поэтической концепцией тела, а Бурдьё (а из числа предшественников — Мосс), устанавливающий соответствие между *габитусом* (совокупностью практических схем) и *социально рационализированным телом* (исходным для анализа в категориях производства и потребления). Власть обнаруживается в таком описании не как простой синоним социального, но как условие становления и поддержания пространства социальных различий, имеющих субстратом объективации тело (в число свойств которого входят манера одеваться, держать себя [4], предпочтение тех или иных форм досуга [5], те или иные особенности речи и письма [6] и т.п.). Отличие социологии от политики, как и любых других практических сфер, состоит в различной конфигурации отношений, образующих социальное тело агента и связывающих его с другими телами через способы производства и потребления, механику вовлеченности в социальные институты, различные формы насилия. Это то, что может быть наблюдаемо и анализируемо, а значит, то, что может гарантировать предметность социальной теории.

Власть и знание рассматриваются как взаимозависимые и сопричастные друг другу в конкретных социальных практиках, и это позволяет, в конечном счете, проблематизировать в контексте социологического анализа оппозицию в целом, тогда как трансцендентное теоретизирование, монополизовав полюс знания, в реальности не трансцендирует из области отношений власти, но просто умалчивает о характере своей вовлеченности в таковую. Именно этот произвольный разрыв знания и власти в

трансцендентной социологии задает порог ее рефлексивности: пример Парсонса хорошо показывает, что общество описывается не *par excellence*, но как частный случай системы вообще. То есть из теоретизирования выпадает главное социологическое основание — рассмотрение специфически социального.

Т: Вы упрекаете трансцендентную теорию общества в неспецифическом рассмотрении своего предмета. Но, опираясь на рефлексивные способности теоретика, она не делает различия между обществом и природой именно потому, что их объединяют общие законы. И человеческое тело — лучший тому пример. Системный характер присущ любым доступным разуму сложным объектам: и обществу, и глазу птицы, и биологическому симбиозу, и кибернетическому устройству. Поэтому в рамках специальной теории нам нужно только установить элементарный состав системы, существующие в нем взаимосвязи и способ их воспроизводства. Если мы строим социальную теорию, в обществе мы отыскиваем присущие системе качества и описываем их конкретную конфигурацию. Более того, взяв за объект теоретического наблюдения человека, именно “как единственное разумное существо на земле”, мы не только указываем на собственно социальное основание системной организации общества, но и способны объяснить социальное действие в его специфическом основании: способности смыслополагания, как, например, у Вебера, или рациональном расчете, как в теории рационального выбора. Ваш упрек в неспецифичности бьет мимо цели.

И: Но основополагающее допущение в подобном подходе разве не имеет статуса метафизического, а потому не исследуемого самим социологом априори? Если так, что гарантирует его пригодность для социологического объяснения: авторитет европейской метафизики, сумма суждений великих мыслителей, интеллектуальные и культурные достоинства теоретика? В чем специфика социальной теории, если объяснение и социального, и несоциального могут выводиться с одинаковой достоверностью из чистого разума?

Т: Специфика социологической теории, как мы уже отмечали, состоит в обнаружении свойственных только социальной системе признаков и связей между ними. Использование же человеческого разума для исследования любого предмета универсально, что и делает возможной саму рефлексивную дистанцию, отделяющую теоретика от предмета его теории. Между тем, что в имманентной концепции социального может гарантировать сохранение специфичного предмета социального теоретизирования? Если мы возвратимся к связке знания-власти, в которой граница изначально и принципиально не проведена, мы убедимся, что при левом политическом акценте теоретиков, вводящих ее таким образом в социальную теорию, получается именно “власть повсюду”, как это было у Фуко. “Власть” оказывается неспецифичным, а если говорить о Фуко, метафорическим именем, обеспечивающим тот же трансцендентный уход от проблематизации компонент социального, который Вы ставите в упрек нам.

И: Отчасти — если говорить о Фуко — это замечание справедливо, но следует принять во внимание существенную особенность его определения власти: это метафора не трансцендентного, а имманентного рода. Власть предстает у Фуко условием, процессом и результатом социального воспроизводства. То есть, в конечном счете, именем всего ансамбля социальных отношений. Но ведь такое ее введение и позволяет описывать общество в его специфическом качестве: власть представляется собственно социальным, при этом она не сводима ни к чему-то несоциальному, ни к множеству отдельных социальных “вещей”. В случае, когда социальное, как здесь, описывается под двумя именами (“власть” и “социальное тело”), со стоящими за каждым из них различными способами упорядочения, наборами свойств и элементов, мы имеем дело с описанием общества, взятого в отношении к себе самому. То есть с *социально тематизированным социальным*. При этом сам теоретик не монополизирует какой-либо из полюсов. Гарантию же от простого тавтологического определения “власть — это

власть” дает поиск *разрывов* и объективаций процессов автономного воспроизводства властных отношений в не-власти. Для Фуко разрывы в отношениях власти заданы предметным содержанием различных локусов физического-социального пространства: тюрьмы, детской комнаты, казармы, фабрики, эшафота. У Бурдье разрывы между связными властными конфигурациями определяются, прежде всего, по границам автономных практических сфер (полей), различающихся по присущей каждой из них практической компетентности, ставкам и правилам борьбы за признание.

В целом же, введение несамостоятельного социального объекта можно рассматривать в качестве отличительной черты имманентного социологического теоретизирования. Отталкиваясь от результатов исследовательской практики, оно постоянно имеет дело с двумя, не сводимыми друг к другу областями: множеством практических схем, представлений, интуитивно постигаемых и предзаданных извне элементов реальности, доступных объяснению из подобию исследователя исследуемому; и “систематически тотализированным”, но предельно узким теоретическим конструктам, результирующим разрыв и сущностное отличие социологического взгляда на повседневный мир от взгляда обыденного, то есть, в конечном счете, специфику социологии как другого места практик. Между этими двумя объектами в практике социолога существует постоянная динамическая связь, которая не может быть раз и навсегда, единственным образом закреплена в том или ином языке описания или теоретической схеме. Именно эта *связь через разрыв* с постоянно изменяющимся порядком повседневного восприятия составляет условие постоянного обновления социологической теории, точнее, теорий.

Т: Но где гарантия того, что все это необходимое, как Вы утверждаете, многообразие теорий, результирующее социальные изменения, не окажется просто комбинацией обыденных представлений, в котором за именем имманентного объяснения будет стоять смешение сознания исследователя и респондента,

как это происходит в этнометодологии? Или что, в таком случае, запрещает нам ввести в число теоретически допустимых объяснений те интерпретации, которые дают журналисты, политологи, участники манифестаций — то есть политически ангажированные субъекты? Трансцендентная теория, по крайней мере, от такого смешения застрахована наличием генерализующей точки отсчета: мы можем описывать общество, постоянно наблюдая изменения в системе связей между его субъектами. Если общество — это единая система, нам не нужно решать частные политические вопросы, поскольку мы остаемся на уровне социальной тотальности.

И: Давайте вспомним, что системная терминология (здесь намеренно не говорится “теория”) прочно вошла в обиход журналистов, политологов и политиков, в отличие от, скажем, структуралистской. Более того, в Советском Союзе Институт системных исследований и работы в русле анализа социальной системы Советского общества были не только поддержаны государством, но и, во многом, были конституированы его интересом. Сходную ситуацию можно наблюдать в США 1950-70-х, где начало деконструкции парсонсианства связывают, в первую очередь, с трансформацией базовых компонент экономического и политического порядка. Все эти факты, с одной стороны, свидетельствуют о том, что устойчивость трансцендентного теоретизирования коренится в специфических социальных условиях, и одним из главных оказывается долговременная государственная лицензия на производство представлений, соответствующих императиву интеграции, поступательного роста, прогресса. С другой стороны, о том, что системная теория или взгляд на общество как на предпосланную тотальность не может быть содержательно противопоставлен политическому взгляду: само *априорное* полагание целостности и обозримости общества повторяет логику механизма политического представительства, которое опирается на ряд перформативных акций, имеющих целью создать целое, от лица которого можно было бы говорить и действовать [7]. Таким

образом, само понимание системы как замкнутого, определенного, упорядоченного (и в этом противопоставленного системной среде) оказывается открыто неспецифическому опыту различения, политическому или обыденному — и, таким образом, неконтролируемому смещению, которого Вы опасаетесь.

Имманентная теория не полагает себя в качестве гарантии рефлексивных способностей социального целого. Ее задачей, как уже отмечалось, выступает “наиболее систематическая тотализация”, не требующая фрагментации социального мира на устойчивые замкнутые области. От редукции к манифестирующим социальный мир обыденным смыслам имманентное объяснение застраховано методическим ходом, лежащим в его основании: первоначальное обнаружение трансцендентного основания той или иной серии социальных событий и последующий анализ его социального генезиса. В этот же цикл позиционирования включены и предпосылки метода и социальные представления самого исследователя, так что объективации трансцендентного основания сопутствует самообъективация исследователя. В границах трансцендентного видения обычно вообще не проблематизируются отношения между обыденным и теоретическим опытом, что еще раз заставляет задуматься о его “чистоте”. Имманентная же теория, признавая практический интерес социолога, постоянно возвращается к связи через разрыв с обыденным (политическим) восприятием. В целом, имманентная теория движется по пути, обозначенном Дюркгеймом: объяснять социальные факты через социальные факты. Тогда как в рамках трансцендентной теории последним основанием, а значит, последним объяснением всегда оказывается сознание самого теоретика.

Т: Но в этом случае, в рамках имманентного взгляда, распадается главный предмет социологической теории: общество в целом, которое доступно описанию именно благодаря его универсальным качествам, например, системности. Получается, что объяснять и описывать частные социальные объекты

исследователь может, и опираясь на собственный частный (а не универсальный) опыт.

И: Вы совершенно правы. Именно поэтому имманентная теория настаивает на социальном самоописании теоретика. Избегая телеологии, вытекающей из априорного полагания общества как только системы или только множества рациональных индивидов, она снимает частный характер социальной перспективы исследователя “двойной историзацией”: объяснением как исторической логики объекта, так и способов его описания исследователем [8, с.22]. Учитывая это, особенно интересно остановиться на Вашем утверждении о предпочтительности наблюдения общества как реальной системы. Критически проанализированное, оно раскрывает исходный произвол, который допускается в рамках трансцендентного теоретизирования. Его суть состоит в том, что на месте собственных свойств социального целого в таком объяснении оказываются посылки метода его анализа. Категории созерцания, которые в трансценденталистской интерпретации Канта выступали условием возможности явления в опыте мира вещей, здесь оказываются собственными свойствами самого этого мира. Действительно, чем являются общество как частный случай системы у Парсонса или Истона, индивиды, действующие рационально, у Коулмена или Будона, аутопойэсис как механизм воспроизводства любой системы у Лумана? *Натурализованным взглядом самого теоретика*, не устранившего из описания общества исходные допущения метода. По мере объяснения (точнее, умолчания) последние дают такой сильный эффект, что императив рассматривать общество систематически или рационально превращается в рациональную или системную “природу общества”. Формула такой методологической инверсии хорошо видна на примере фрагмента из Парсонса, где социальное целое, понимаемое как система, превращается в систему, понимаемую как общество: “ИмPLICITно или эксплицитно... социологический анализ должен работать с обобщенной системой институциональной структуры, чтобы дать обобщенные

категории, адекватные для *полного* [Сноска в авторском тексте: Не в деталях, но в терминах функционально существенных аспектов] описания функционирующей институциональной системы” [9]. То есть более существенным в рамках трансцендентного видения выступает сохранение собственных предпосылок (как условий разрыва с наблюдаемым объектом), чем описание/объяснение социального мира. Имманентную теорию от такового отличает систематическая поправка на вводимые в исследование посылки метода.

Т: Пускай даже конечным результатом трансцендентного теоретизирования оказывается только исследование теоретиком собственного разума. Этот результат может нас удовлетворить, если мы признаем, что теоретик выступает носителем универсального качества, которое для социальной реальности является системообразующим — будь то системность, свойственная и природе, и обществу, или разумность, свойственная только человеку. Исследуя себя с позиции разума, теоретик, все же, продолжает исследовать общество. Но в отношении имманентной теории остается не проясненным главный вопрос: какова позиция теоретика, делающего возможным теоретическое описание общества или власти?

И: Ответ имманентной социологии может показаться парадоксальным: такой позиции *не существует*. Ее не существует в смысле единственной выделенной позиции, какая предполагается трансцендентным видением. Каждый раз позиция социолога, описывающего власть, пред-задана конкретной конфигурацией властных отношений, в которую он включен как практический агент, и которая задает перспективу его видения как области в целом, так и отдельных точек напряжения в ней. Поэтому социологическое исследование социологов не только возможно, но и необходимо для экспликации того понимания и пред-понимания власти, которое участвует в формировании ее теоретического видения. Процедуры “двойной историзации”, лежащие в основе программы объективации объективирующего

субъекта П.Бурдьё, и выступают гарантией включения результатов имманентного социологического объяснения в число научных и теоретических.

Т: Но если имманентная социология не менее трансцендентной озабочена научной строгостью своих процедур и результатов, их рефлексивной корректностью и соответствием некоторым универсальным основаниями, разве не оказывается саморефлексия социолога в рамках двойной объективации трансцендентной? Ведь ее основным условием выступает та же дистанция по отношению к наблюдаемому объекту, только прописанная во множестве подробностей. Так ли существенна разница между нашими теоретическими подходами, если они предполагают одну и ту же работу с предметом?

И: Главное различие между имманентной и трансцендентной теоретическими перспективами обнаруживается не на методическом уровне, поскольку все научные дисциплины разделяют здесь, по преимуществу, то общее основание, которое отграничивает их от ненаучных практик. В некотором смысле, оба объяснения проходят вместе один и тот же отрезок пути. Это, если угодно, отрезок “первой историзации”, реконструкции свойств самого предмета. Но там, где трансцендентное останавливается, имманентное продолжает развиваться и приобретает свои специфические черты.

Общий отрезок теоретической работы задан поиском первых и последних оснований социальной реальности (пренебрежем сейчас ранее упоминавшимися особенностями допущения/исключения в каждом из подходов априорных посылок). По его завершении трансцендентное видение преобразует таковые в универсальный теоретический конструкт, будь то система, рациональность или рефлексия, — в то, что имеет основанием не-социальное. Имманентное продолжает двигаться уже в логике “второй историзации”, пока не обнаруживает комплекс социальных отношений, *обуславливающих это последнее основание*. Если в качестве такового для социологической теории оказывается разум

теоретика, имманентная теория вырабатывает социальное объяснение его становления и функционирования. Самодостаточный характер теоретической рефлексии снимается, таким образом, ее социальным происхождением, включающим, в том числе, властный интерес теоретика, предлагающего ту или иную схему объяснения. Уровнем решающего различия между имманентной и трансцендентной позициями выступает именно определенность в вопросе знания-власти: готовность теоретика проблематизировать первые основания своего знания о социальном мире, тем самым проблематизируя легитимный символический порядок; или, напротив, его готовность участвовать в легитимации и натурализации такового.

Категории трансцендентного описания общества, как показали исследования школы Бурдьё, в основе своей имеют политический здравый смысл, производителем которого выступают прежде всего государственные институты [10]. Пользуясь словами Фуко, эти категории являются “тем кодом, в соответствии с которым власть себя предъявляет и в соответствии с которым, по ее же предписанию, ее нужно мыслить” [11]. Сама возможность монополизации полюса знания в условиях разделения общественного труда, в первую очередь разделения на политически доминирующих и доминируемых, остается за социологом только потому, что позиция незаинтересованного знания пре-формирована политическим порядком и включена в его воспроизводство как один из компонентов. В этой ситуации происходит обращение рефлексии из инструмента научной практики в привилегию, гарантированную позицией социолога в системе политических институтов: трансцендирование социальной реальности замещается ее *трансцендентным пред-пониманием*.

Следует еще раз отметить, что, критикуя рефлексивную монополию трансцендентной теории, имманентная не предлагает тотального отказа от рефлексии, но — в отличие от первой — ограничивает ее использование рамками метода, повторим, охватывающего как предмет исследования, так и

предрасположенность исследователя видеть его таковым. Анализ властной определенности знания и эпистемологической зависимости властных стратегий — например, через категорию культурного капитала у Бурдье — позволяет открывать содержание социальных практик (в их числе научных) через имманентные им в их собственном событийном регионе признаки. Так, научная деятельность исследуется не в связи с индивидуальной способностью мышления и суждения, но в контексте конкретных условий и форм институционализации знания, ставок и правил научной борьбы, внешней и внутренней легитимации тех или иных объяснений и направлений исследования. Именно потому, что практика социолога наряду с любыми другими оказывается проблематизирована в рамках оппозиции знания-власти, ее результатом становится не бесконечная эскалация рефлексивности (как это представляется носителям трансцендентного видения), но помещение социолога в контекст его собственной социальной перспективы: социологическая рефлексия возвращает исследователю и исследуемой им практике собственное *социальное место* через анализ их взаимоотношенности.

Т: Таким образом, девизом имманентной теории общества оказывается: “трансцендировать, но в рабочем порядке”, — тогда как конечным результатом исследования оказывается новая практическая классификация, сущностно не отличимая от любой другой, включая политические и обыденные?

И: Да, и это закономерно вытекает из определения социологии как другого, то есть еще одного, места социальных практик. Как мы уже отмечали, в этом качестве социология конкурирует со множеством прочих мест производства классификаций, описывающих социальные различия. Главная особенность социологии состоит в том, что она описывает эти различия социологически, то есть исходя из принципов научной автономии [8, с.18] — если угодно, исходя из интереса социолога оставаться социологом. Результат участия социологических классификаций в символической конкуренции выводит интерес социолога за

пределы только эпистемологической проблематики. Да и само введение дихотомии трансцендентного-имманентного не предполагает ли вопроса о ее обоснованности в контексте отношений власти?

Литература

1. Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука// Кант И. Собрание сочинений в 8 тт /Пер. с нем. М.: Чоро, 1994. Т. 4.
2. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане// Кант И. Собрание сочинений в 8 тт. /Пер. с нем. М.: Чоро, 1994. с. 14. Т. 8.
3. Bourdieu P. Homo Academicus. Cambridge: Polity Press, 1990. p. 31.
4. Bourdieu P., Saint Martain M. de. Les catégories de l'entendement professoral// Actes de la recherche en sciences sociales: 1975, № 3. p. 73.
5. Бурдьё П. Социальное пространство и символическая власть// Бурдьё П. Начала /Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1994. с. 194-95.
6. Бурдьё П. Назначение "народа"// Бурдьё П. Начала /Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1994.
7. Бурдьё П. Делегирование и политический фетишизм// Бурдьё П. Начала /Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1994. с. 234-35.
8. Бурдьё П. За рационалистический историзм /Пер. с фр.// S/Λ'97. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии РАН. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996.
9. Parsons T. Propaganda and Social Control// Parsons T. Essays in Sociological Theory. New York: Free Press, 1954. p. 144.

10. Шампань П., Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л. Начала практической социологии /Пер. с фр. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996.
11. Фуко М. Воля к знанию// Фуко М. Воля к истине. /Пер. с фр. М.: Магистериум-Касталь, 1996. с. 188.

Теория в действии

П. Бурдые
Passport to Duke⁴

*Это и есть философская поэзия. —
А что такое философская
поэзия? — Что такое месье Эдгар
Кене? — Философ? — Ну-у... —
Поэт? — О-о!*

Шарль Бодлер

Мне очень приятно быть здесь, среди вас, вместе с вами на этом семинаре. Быть здесь, прежде всего, чтобы поблагодарить тех, кто организовал эту встречу, кто откликнулся на их приглашение, за интерес, который они проявили к моей работе. Затем, чтобы представиться вам лично и, таким образом, дать более живое и менее абстрактное представление о том, что я делаю и кто я такой, чем то, что возникает при знакомстве исключительно с текстами. Я имею обыкновение напоминать, пользуясь интуитивным открытием, мимоходом сформулированным Марксом в “Манифесте”, что тексты циркулируют вне своего контекста. Из этого следует, что тексты, включая мои собственные, написанные, исходя из заданной изнутри определенным состоянием французского интеллектуального или университетского поля позиции, имеют мало шансов быть воспринятыми без изменений и искажений в американском поле (например, здесь и теперь, в этом университете, занимающем определенную позицию в пространстве американских университетов) — столь велико несоответствие между ними, несмотря на очевидное взаимопроникновение.

Однако это несоответствие чрезвычайно часто игнорируется. Например, французские авторы, более или менее полно, во всяком случае, различным образом “интегрированные” в американское поле или в тот или иной его сектор (скорее в

⁴ Выступление на семинаре в Чикагском университете, в 1992 г. Текст ранее не публиковался.

литературоведение, чем в философию, через которую определяется их дисциплинарная принадлежность во Франции), такие как Фуко, Деррида или Лиотар, [во Франции] были включены в целую сеть отношений. А эти *объективные* отношения (не сводимые к межличностным взаимодействиям), которые связывали их не только между собой, но также и со всем множеством институций (например, дисциплин, структура и иерархия которых различаются во Франции и Соединенных Штатах) и со всем универсумом агентов, в большинстве своем неизвестных в США (философов, специалистов в социальных науках, писателей, художников, журналистов и т.д.),⁸⁹ внесли свой вклад в определение творческого проекта, продуктом которого являются их произведения. Превращенные в изолированные светила силой меж-национального перенесения, изъавшего их из созвездий, в которые те были включены, французские авторы (это также может быть вскоре отнесено и на мой счет, если я получу выгоду или пострадаю от последствий “French flu”, как выразился мой друг Э.Томпсон, — от “французского коклюша”) оказались открытыми (в известных рамках) для всех интерпретаций, и стало возможным безнаказанно распространять на них присущие американскому полю проблематику и категории (например, оппозицию “модерн/постмодерн”, очень слабо представленную во Франции).

Здесь именно тот случай, когда личное присутствие может сыграть незаменимую роль. Неизбежные и неизбежно двусмысленные вопросы об отношениях приглашенного автора с другими, отсутствующими, авторам (“Что вы думаете о Дерриде?” или, в более точной формулировке: “Я читал там-то или там-то, что вы недавно провели множество публичных акций совместно с Дерридой. Что это означает?” или еще более точно и тоном упрека, но здесь мы оказались бы уже, вероятно, во французском поле: “Как могло случиться, что Вы объединились с Дерридой для проведения той или иной акции?”), все эти вопросы и еще множество других, которые возникают в вашей голове, могут повлечь за собой выработку явных или неявных точек зрения (конечно же, это было бы очень часто, если бы я был здесь, перед вами: чуть ироничная улыбка в адрес Лиотара или очень красноречивое молчание в адрес Бодрийера). Эта

выработка точек зрения позволяет по меньшей мере видеть, как приглашенный автор, сознательно и более или менее явно, задает свое место в отношении других авторов.

Все это замечательно, но достаточно ли этого, чтобы преодолеть структурное несоответствие, о котором я говорил в начале? Я так не думаю. Устранив, через ряд уточнений, всякого рода путаницу, являющуюся следствием *аллодоксии*⁵, которую производит дистанция (и не только географическая) между национальными полями и порождающимися и воспроизводимыми в них историческими традициями, я был бы должен (или принужден) — чтобы достичь наилучших результатов в общении с вами — предпринять два внешне противоречивых шага: с одной стороны, продемонстрировать связь и согласие с фактами, то есть научность, теории или *системы соотносительных* понятий, которую я предлагаю и которая может быть вовлечена в конструирование (неразделимо теоретическое и эмпирическое) объектов, существенно различных на феноменальном уровне и обычно относимых к ведению очень разных дисциплин (истории литературы, истории науки, истории философии, истории искусства и т.д. — я не намерен перечислять все дисциплины, очень разнообразные и многочисленные, которые, к моему огромному удовлетворению, представлены здесь, на этом семинаре). С другой стороны, обратиться к полю — пространству теоретических возможностей — по отношению к которому (то есть одновременно вместе и против которого) эта система выстраивается и в котором она может иметь свои ограничения, без моего ведома и несмотря на все мои усилия избавиться от национальных своеобразий и особенностей путем постоянной (и стародавней) поддержки идеи научного интернационализма.

По поводу второго шага: обращение к структуре университетского поля и отношение между этим полем и литературным, художественным и политическим полями во Франции (где оно, по-моему, сильно отличается от такового в

⁵ Греч.: *allos* — другой, *doxa* — мнение. От доксических различий, т.е. различий в здравом смысле, лежащем в основании американского и французского научного производства (Примеч. перев.).

Америке) — я отсылаю к моей книге “Homo Academicus”, и более конкретно, к предисловию американского издания. Опираясь на графическую схему анализа соответствий, где вы найдете все известные вам имена, в том числе мое, я попытался выделить характеристики позиции, занимаемой в 70-х годах авторами, наиболее хорошо вам знакомыми — Фуко, Дерридой и другими (включая меня самого) — и показать, насколько эта позиция (с вариациями, зависящими от траекторий, приведших к ней) положена в основу критических, анти-институциональных позиций, которые они заняли в своем творчестве. Чтобы продвинуться в понимании сходств и различий, вы могли бы прочесть текст, озаглавленный “Кандидат в философы”⁶, где я попытался выделить путем ретроспективного самоанализа диспозиции (а точнее, интеллектуальные амбиции и претензии), связанные с поступлением на философский факультет элитного учебного заведения, Высшей Нормальной Школы, в пятидесятые годы. Здесь вы обнаружите также ключ к пониманию одного из наиболее важных факторов, который, наряду с моим социальным происхождением, отделяет меня наиболее явным образом от самых известных моих современников. Это выбор, который я сделал, уйдя из высшей касты философов, чтобы обратиться сначала к этнологии (с моими эмпирическими работами о Кабилии), позже (преступление еще более серьезное) к социологии и социологии труда (“Труд и рабочие в Алжире”), потом к социологии образования (“Наследники”, “Воспроизводство”) — к особенно презируемым областям дисциплины-парии. Это как раз в эпоху шестидесятых, когда те, кто позже обнаружили — наверное отчасти благодаря социологии образования и науки — ставки власти в университетской и научной жизни, были, как Фуко, погружены в атмосферу так называемого структурализма.

Мало сказать, что я не был причастен семиологико-литературным увлечениям, воплощенным в моих глазах в фигуре Ролана Барта, а на границе поля науки и поля литературы — в

6 Aspirant philosophe. Un point de vue sur le champ universitaire dans les années 50// Les Enjeux philosophiques des années 50. Paris, Editions du Centre Pompidou, 1989. pp. 15-24.

приверженцах *Tel Quel*, соединяющих Мао и Сада (практически все французские интеллектуалы, включая Симону де Бовуар, в эти годы писали исследования по автору “Жюстины”), Соллерсе, Кристевой и их маленькой свите писателей второй руки с претензиями великих, пытавшихся учредить в недрах интеллектуального поля эстетский культ эротической или политической трансгрессии без последствий (можно прочесть по этому вопросу мою работу “Соллерс как таковой”⁷). Я был едва ли более снисходителен в отношении тех, кто, объединяя престиж философии, скорее ницшеанской, как Делез и Фуко, или хайдеггерианской, как Деррида, и престиж литературы, с обязательными отсылками к Арто, Батаю или Бланшо, способствовали размытию границ между наукой (особенно Фуко) и литературой, когда они не шли дальше озвучивания наиболее грустных тем, которые произвело высокомерие философов в пику наукам о человеке, и которые часто приводили их на грань нигилизма (я вас отсылаю в связи с этим к двум книгам одного из моих немногочисленных соратников по [интеллектуальному] *сопротивлению* — к работам Жака Бувреса⁸).

Вот почему я совсем не удивляюсь, когда вижу себя причисленным — по причине *аллодоксии*, вытекающей из несоответствий [между полями] — к лагерю “пост-модернистов”, с которыми я постоянно борюсь в интеллектуальном плане, даже если мог бы иметь с ними точки соприкосновения, так сказать, политические, которые наверно объясняются, как я только что отметил, отчасти тем, что нам свойственны общие подрывные или анти-институциональные диспозиции, связанные со схожей позицией в академическом пространстве. (Смешение уже было произведено в самой Франции, в интересах полемики, Люком Ферри и Алэном Рено в памфлете о примитивном социологизме, озаглавленном “Мысль 68”⁹, который был немедленно

7 Sollers *tel quel*// *Liber*, № 21-22, mars 1995. p 40. (Название работы построено на игре слов: название группы “*Tel Quel*” имеет буквальный перевод “такой, какой есть”, “в том же виде”, “в данном состоянии” — прим. перев.)

8 J.Bouveresse. *La Philosophie ches les autophages*. Paris, Editions de Minuit, 1984; J.Bouveresse. *Rationalité et cinism*. Paris, Minuit, 1984

9 *La Pensée* 68

оркестрован всей консервативной мыслью).

Это подводит меня к следующему пункту моего анализа, а именно обращению к пространству возможностей, по отношению к которому выстраивался мой собственно научный проект (основанный на почти полном социальном разрыве с салонными играми литературной философии и философской литературы). Совершенно ясно, что если я бурно конфронтировал с авторами, наиболее непосредственно вовлеченными в семиологико-литературный стиль и если, таким образом, очень сознательно исключал себя из ускоренной циркуляции, которая приносила им прибыль, благодаря престижу, придаваемому парижскому литературному авангарду (в особенности через отделения французской литературы некоторых престижных американских университетов), то я очень активно сближался в своей исследовательской практике (но не в своем дискурсе, как философы, исключая Фуко) с таким структурализмом, каким его воплощал Леви-Строс в “Элементарных структурах родства”, “Первобытном мышлении” или “Мифологиях”. Я обратился к существовавшему в шестидесятые годы научному контексту моей исследовательской работы во введении к книге “Практическое чувство” и попытался показать в двух ее первых главах, как я работал, чтобы преодолеть оппозицию — всегда живучую во всех социальных науках (в отношении истории, можно прочесть мое интервью с немецким историком Лютцем Рафаэлем (Lutz Raphael)¹⁰) — между объективизмом, показательно воплощенным в фигуре Леви-Строса, и субъективизмом, доведенным до его крайнего предела Сартром. Преодоление, которое находит выражение — даю телеграфным стилем — в понятии габитуса.

Но чтобы овладеть другими инструментами, которыми я пользуюсь при анализе культурной продукции: права, науки, искусства (моя готовящаяся — пожалуй, слишком долго — работа о Мане), литературы (мой анализ Флобера или, более поздний, Бодлера), философии (исследование немецкого поля философии времени Хайдеггера) — следовало бы очертить все

10 Actes de la recherche en sciences sociales, № 106-107, mars 1995. pp. 108-122.

пространство теоретических находок (при анализе символических феноменов), которые я постепенно собрал и объединил для разрешения вставших передо мной проблем, а конкретнее, анализ кабийского ритуала или религиозных практик, а также литературной и живописной продукции дифференцированных обществ (в 1972 году я в первый раз представил в Чикагском университете перед аудиторией социологов, немного позитивистов, совершенно ошеломленных, подобие простой сводной таблицы этих теорий; см. “О символической власти”¹¹).

Но понятие поля литературы как пространства позиций, которому соответствует гомологичное пространство точек зрения (функционирующее как пространство возможностей), само строится в зависимости от пространства различных подходов, возможных в литературной деятельности, которые противостоят друг другу, и которому противостоит данное пространство, объединяя и обобщая их все неэклетическим способом (обращение к этому пространству подходов в литературе или живописи есть в некоторых моих работах¹²). Имей я достаточно времени, я бы показал, как можно критиковать символический структурализм, каким он предстает у Фуко и у русских формалистов¹³ и этим сохранить [некоторые] достижения (с представлениями о пространстве стратегических возможностей или интертекстуальности) в подходе, который, преодолевая оппозицию между анализом внутренним (текст) и внешним (контекст), ставит в соответствие поле литературы (или философии, права и т.д.), в которое включены производители — в позициях доминирующих и доминируемых, центральных и маргинальных и т.д. — и пространство работ, определяемых их формой, стилем, манерой. Другими словами, вместо того, чтобы быть одним из подходов среди многих, анализ в терминах поля позволяет методически объединять достижения всех имеющихся

11 On symbolic Power// Language and Symbolic Power, J.B.Thompson (ed.). Cambridge, Polity Press, 1991.

12 Principles for a Sociology of Cultural Works// The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature (ed. R.Johnson). Cambridge, Polity Press, 1993; Les Règles de l'art, Paris, Editions de Seuil, p. 271-292.

13 Op.cit. p.278.

на сегодня подходов, которые кажутся несовместимыми только в поле, разделенном на лагеря критикой (или анализом).

Наконец, мне следовало бы показать вам, каким образом анализ, вооруженный знанием общих свойств полей (которое дает теория полей), может открыть в каждом из полей, например в литературном, свойства, которые скрыты от наивного въдения; как, благодаря методическому сравнению, которое допускает понятие поля, этот анализ может высветить свойства, характеризующие сами по себе функционирование различных полей, не допуская, в частности, отождествления научного универсума с литературным, как может себе позволить это делать некое “пост-модернистское” въдение литературы и науки (с так называемой сильной программой социологии науки или некоторыми нигилистическими постановками под вопрос самих социальных наук — во имя “лингвистического поворота” (“linguistic turn”)).

Я попытался показать применительно к случаю, на первый взгляд наименее благоприятному, случаю социальных наук и особенно социологии¹⁴, что даже если наука — пусть наиболее “чистая” — может в структуре и функционировании иметь множество общих черт с полем политики, то, тем не менее, она имеет свой собственный *номос*, автономию, которая избавляет ее более или менее полно от вмешательства внешних принуждений. Именно поэтому истины, произведенные в таком относительно автономном поле могут быть совершенно историческими, как и само поле, не будучи при этом ни выводимыми из исторических условий, ни сводимыми к внешним обстоятельствам или их влияниям, поскольку поле ставит перед ними заслон или фильтр своей собственной истории, автономной и гарантирующей автономию, то есть истории “языков” (в самом широком смысле этого термина), соответствующих каждому полю или субполю.

Вот некоторые из тех вещей, о которых я хотел бы вам сказать, если мог бы быть сегодня с вами в Университете Дьюк¹⁵.

14 La cause de la science// Actes de la recherche en sciences sociales, № 106-107, mars 1995, p. 3-10.

15 Duke University, Северная Калифорния. Принимая во внимание

Я также хотел бы сказать, сколь признателен вам за интерес к моей работе, и что мне особенно нравится ваше отношение к моей работе как к некоторого рода интеллектуальной машине, достаточно совершенной, которую без замешательства разбирают и собирают снова, как это делали герменевты, но которую заставляют функционировать, чтобы непрестанно требовать от нее новых продуктов, а также чтобы при необходимости вносить в нее новые усовершенствования.

*перевод с французского А.Т. Бикбова
отредактирован Н.А. Шматко*

название университета, заглавие настоящей статьи можно перевести как “Пропуск в университет Дьюк”. В статье, близкой ей по теме, которая завершает американский сборник, посвященный критическому рассмотрению основных положений метода Бурдьё, он сам развивает тему несходства между французским и американским социологическими полями, классифицируя свои работы по отношению к их ошибочным интерпретациям, возникающим в силу аллодоксии. Отвечая на критику, Бурдьё в сжатом виде формулирует базовые методологические оппозиции, заложенные в его исследования разных периодов, пытаясь таким образом внести поправку на систематическое отклонение в их прочтении. См.: Bourdieu P. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intellectual Works// Bourdieu: Critical Perspectives /ed. C.Calhoun, E.LiPuma, M.Postone. — Cambridge: Polity Press, 1995. (прим. перев.)

А.Т. Бикбов, С.М. Гавриленко
Пространственная схема социальной теории как форма
объективации властного интереса теоретика:
Парсонс/Фуко¹⁶

Пространственная схема теории — видение социального
пространства

Всякое социально-теоретическое описание общества, при всем многообразии существующих подходов, в основе своей содержит пространственную схему, которая приписывает социальному миру ту или иную предельную форму упорядоченности. “Социальная структура”, “профессиональная стратификация”, “социальные классы”, “политическая система ‘вход — выход’”, “поле политики”, “организационная иерархия”, выступающие опорными категориями различных концепций, являются пространственными абстракциями, которые, в свою очередь, основываются на допущении общества как структурированного пространства. Это допущение не предполагает тождества социального пространства и физического, в котором можно рассматривать общество, сводя его к национальному государству, множеству индивидов, овеществленной структуре производства. Социальное и физическое пространства, взаимопроницаемые и взаимоопосредованные, принципиально отличны: первое выстраивается по взаимному исключению объектов, тогда как второе — по их смежности¹⁷. Если речь идет о взгляде на мир с

16 С благодарностью к критикам: они заставили нас быть точнее и внимательнее.

17 “...Физическое пространство определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей, в то время как социальное пространство — по взаимоисключению (или различению) позиций, которые его образуют, так сказать, как структура рядоположенности социальных позиций” [1, с. 35].

точки зрения социологии, в качестве его а priori может выступать только социологически понимаемое пространство, то есть схемы исключения или способность социального (а не физического) различия, которая делает любую физическую констатацию лишь материалом для последующего социального анализа. Следуя этому пути, мы оставляем за рамками настоящего исследования возможные определения пространства как формы категориального созерцания, атрибута материи, универсального вместилища. Мы рассматриваем его как властно обусловленный феномен — как представление о пространстве, заданное совокупностью категорий социальной перцепции, которые различаются в зависимости от позиции носителя, от имманентного ей властного интереса. Различие позиций приводит к различному видению, а значит, к различным представлениям о социальном порядке¹⁸.

Замысел настоящего исследования состоит в том, чтобы раскрыть связь между пространственной схемой, лежащей в основе теоретического объяснения социальных феноменов, и позицией социолога в системе властных отношений. Для рассмотрения базовых пространственных схем мы выбрали работы Т.Парсонса и М.Фуко, а в их рамках — описание феномена политической или, более обще, социальной власти. Сузив таким образом предметное поле, мы, с одной стороны, достигли большей точности, но с другой, формально усложнили задачу исследования, говоря о властном интересе в описании власти. Впрочем, именно это усложнение оказалось эффективным ходом при анализе зависимости теории власти от позиции теоретика: теоретически определяя власть, он определяет прежде всего собственное положение в системе властных отношений. Тем самым, сопоставление работ Парсонса

18 “Категории перцепции” — термин П.Бурдье, который вводит его для объяснения разнящихся точек зрения, вытекающих из различия положения их обладателей в социальном пространстве: “Социальный мир может быть назван и построен различным образом в соответствии с различными принципами видения и деления...” [2, 195].

и Фуко призвано раскрыть связь между их существенно различающимся самоопределением в контексте власти и различием в их теоретических (пространственных) моделях феномена.

В предпринятом исследовании мы использовали теоретический ход П.Бурдьё, который, исходя из категории различия, ввел взаимоопределяемые социальную позицию и социальное пространство¹⁹. Специфика нашего подхода состоит в том, что позиция социолога и искомая связь ее с пространственной схемой раскрывается не через обнаружение источников теории в историческом или биографическом контексте (то есть через внешний для теории причинный ряд), но через анализ самой пространственной схемы в тексте теории. С этой целью мы отделяем пространственную схему (как а priori и, одновременно, конечный результат теоретизирования) от текста теории, понимая последний как процесс реализации властной стратегии и конкретный способ говорения о власти. Пространственная схема, хотя и оказывается неразрывно связанной с текстом, выступает уже независимой от него, вовлеченной во властное взаимодействие как ставка, аргумент, гарантия и т.д. Текст теории здесь предстает, прежде всего, сложной классификацией социального мира, претендующей на описание его предельных темообразующих констант: социального порядка, власти, взаимодействия и т.д. При этом классификацию нужно понимать не в узком логическом смысле (только как выстраивание иерархии понятий), но как конструирование социальной онтологии в борьбе за господство того или иного способа и языка ее представления. Таким образом, выраженная в классификации точка зрения социального теоретика и оказывается его способом вовлеченности во властные отношения²⁰.

19 См., напр., [1].

20 Здесь мы опираемся на тезис Р.Барта: «Объектом, в котором от начала времен гнездится власть, является сама языковая деятельность, или, точнее, ее обязательное выражение — язык... Мы не замечаем власти, тащущейся в языке, потому что забываем, что язык — это

В настоящем рассмотрении мы отказались от историко-социологической логики, в которой опорной процедурой объяснения выступает периодизация, данная как ко всему ряду мыслителей, так и к каждому из них в отдельности. Если эта логика работоспособна там, где требуется зафиксировать последовательность появления ряда идей, теоретических ходов, то объяснять сам механизм теоретизирования она бессильна. Поэтому отобранные для настоящего анализа тексты не определяются через обобщенно-метафорические меты “ранний Парсонс”, “последний период Фуко” и т.п. За основу взят более устойчивый критерий теоретической идентичности: базовая модель социального порядка, введение которой сопровождается устойчивым набором интерпретативных процедур, метафор, наконец, инвариантов одной пространственной схемы. Исходным для нашего анализа выступает такое полагание общества, которое нейтрально к историческим и биографическим различиям, проявляющимся от текста к тексту, а, следовательно, и окончательный отбор текстов произведен не из соображений их самостоятельной важности (с точки зрения истории социологии), но по тематическому признаку: взяты для анализа те из всего корпуса работ, которые сфокусированы на феномене власти и наиболее полно описывают ее *per se*.

Между тем, в связи с методом имманентного анализа теории, поставив на место внетекстовых социальных фактов сам текст, как социальный факт, мы отступаем и от того понимания социального пространства, которое у Бурдьё является конструктом, обобщающим результаты его эмпирических исследований. Отказавшись от привлечения внешних для теории фактов, мы вынуждены оставить за пределами рассмотрения

средство классификации и что всякая классификация есть способ подавления...” [3]. Барт употребляет “язык” в смысле “речи”, дискурсивной практики по определению, обобщению и типизации. Уточняя это широкое определение, наиболее выраженной формой классифицирующей практики можно признать текст социальной теории и рассматривать его как совокупность знаково выраженных отношений власти.

эмпирически обнаружимые позиции Парсонса и Фуко в профессиональных полях США и Франции 1950-70-х²¹. При этом мы сохраняем отправной точкой понятия социального пространства его значение как множества соотносительных позиций, то есть, в конечном счете, как “пространства отношений” [7].

Точнее введение более абстрактно понимаемого социального пространства, наследующего понятию П.Бурдьё, можно обосновать фактом зависимости структуры субъективного опыта от позиции, а следовательно, интереса, его носителя в данном социальном порядке [2, 188-189]. Действительно, с одной стороны, для объяснения того, что такое социальное пространство, мы должны обратиться к субъективному опыту агентов. В отличие от времени, которое есть опыт несамотождественности, пространство — опыт различий, опыт отличия себя от иного или, говоря социологически, своей позиции от чужой²². В этом смысле, социальное пространство — конструкт, схема фиксации опыта различения. С другой стороны, в той мере, в какой мы признаем статистические закономерности результатом действия сил, внеположенных индивидуальному опыту, мы, вслед за Дюркгеймом, говорим об обществе как о реальности *suī generis*. Статистические тенденции, социальная структура, а также диффузные и локальные характеристики социальной организации передают необходимую связь

21 Одна из попыток дать социологический анализ позиции Фуко, раскрыть ее маргинальный характер в академическом поле и источники признания, содержится в [4]. Пример критического анализа социального содержания работ Парсонса представлен в [5], а также в интервью П.Бурдьё [6].

22 П.Рикер в случае, близком нашему (а именно, чтобы выделить базовые элементы повествования), говорит о двух типах идентичности: “*idem*” и “*ipse*”. Если первый “заключает в себе некую форму неизменности во времени” (то есть полагает пространство условием отличия себя от не-себя), то второй, “самость” — “лишь определение непрерывности, устойчивости, постоянства во времени” (то есть выделение себя во множестве временных не-я) [8].

социальной реальности с упорядоченностью: социальное необходимо упорядочено, а значит, отношения, на которых основан опыт различения, реальны. Здесь, казалось бы, понятие социального пространства приобретает внутреннюю противоречивость. С одной стороны, это объяснительный конструкт, с другой стороны, объективный порядок социального мира, как если бы тот состоял из вещей: субъект и объект, опыт и его предмет занимают одно и то же место. Можно подозревать, что теоретиком рождаются, и вместе с тем, им нужно стать.

Однако противоречие только видимое. В физическом мире субъект опыта — социальный агент, для которого объектом опыта выступает не-социальное. Опосредование такого объекта опытом совершаемых над ним практических операций оставляет за ним значение “вещи другой природы”, которое получает предельную форму в оппозиции мира природы и социального мира в целом. В противоположность этому, опыт взаимодействия с себе подобным есть опыт только “своей природы”, которая предпослана агенту необходимо и непосредственно, а потому также является для него объективной. Объекты социального мира образуют с агентом общий причинный ряд, а потому социальный опыт возможен только посредством легитимных категорий перцепции — предзаданный распределением сил, он находится в имманентной связи с порядком, который реален [2, 193-199]. Таким образом, социальное пространство оказывается имманентным условием всякой социальной практики, в том числе суждения, и не имеет места нигде, кроме как в ее конкретной фактичности. Именно в силу имманентности социального пространства любому социальному событию, в силу его практической (в том числе языковой) опосредованности, невозможна фиксация его окончательной, универсальной определенности. Как очевидность, как единственный порядок, оно дано только в представлении, через разнящиеся у обладателей различных позиций категории перцепции или — что составляет предмет нашего интереса — теоретические схемы, опирающиеся на логику конкуренции точек зрения в

неокончательно упорядоченном, частично недетерминированном социальном мире [2, 197]. Текст теории, представляющий инструментом этой конкуренции, важен для нас не столько как результат движения к научному открытию, сколько как продукт осуществления властных стратегий, результат борьбы за производство того или иного представления о социальном мире.

Категория социального пространства в нашем исследовании, таким образом, используется на двух уровнях. На первом мы реконструируем модель пространства, которая позволяет в своих рамках приписывать феномену власти те или иные свойства — можно сказать, это представление о пространстве или социальном порядке, произведенное теорией. На втором уровне мы соотносим выделенную пространственную схему с элементами властных стратегий, чтобы прояснить роль или функцию данного представления в социальном пространстве, в которое включен теоретик. При этом повторим, мы изначально отказываемся от анализа внетекстовых фактов. Опираясь на социологическую доксу, мы отыскиваем в самих текстах отсылки, следы, характеристики, оставленные теоретиками в отношении актуального для них властного порядка, и сопоставляем с теми признаками, которые в каждом случае власть получает как теоретический конструкт. В конечном счете, мы пытаемся выяснить, как тот или иной способ представления власти участвует в ее воспроизводстве. Мы исходим из того, что теоретик, видящий или желающий видеть весь социальный мир закономерно упорядоченным, не может, в силу теоретической логики, допускать одновременно сразу несколько взаимоисключающих форм порядка, например, наличие единой жесткой иерархии всех социальных сфер и их взаимоопосредованное равенство. Категории перцепции, превращенные в теоретическое объяснение, делят мир много более жестко и строго, чем категории обыденного восприятия. Поэтому и определение власти, вытекающее из специфического взгляда теоретика на социальный мир, выражает наиболее полно характеристики социального пространства на первом уровне.

Каким может быть этот взгляд, а, точнее, какое пространство задается различными способами теоретического видения?

Логика различия в текстах и теоретической схеме Фуко

Начнем с анализа принципов построения текстов Фуко, опираясь, прежде всего, на те работы, которые использованы нами для реконструкции его представления власти²³. В силу имманентного характера анализа, о чем говорилось выше, предметом рассмотрения выступает текст, содержащий множество суждений о власти и имплицитно или эксплицитно включающий определенную схему социального пространства. Попытаемся сначала прояснить, какие языковые механизмы Фуко использует для производства своей классификации социального мира.

Во-первых, отметим специфику базового словаря Фуко, составленного из терминов “власть”, “дискурс”, “сексуальность”, “пространство”, “знание”, “стратегия”, “тактика” и др. Как и любое множество знаков, которым приписывается терминологический статус, они должны обеспечить фиксацию (терминирование) предметной области (что, собственно, является одной из важнейших функций терминологии вообще). Однако они не приобретают характера категорий, имеющих своим содержанием строго заданные области социального мира. Предметная область задается Фуко путем выстраивания серии дистанцирований, различий и исключений из (от) области уже данных, очевидных, ставших обыденными представлений²⁴, и

23 Работами, которые мы используем для содержательного анализа, а также те, на тексты которых мы распространяем нижеследующие характеристики — это “Воля к знанию”[9] и “Надзирать и наказывать” [10].

24 “...Аналитика [власти] может быть конституирована лишь при условии расчистки места и освобождения определенного представления о власти... [—] обыденного представления...” [9, с.181]. Подобный “метод расчистки” применен Фуко и в “Археологии знания” (см., например [11, с.23-32])

базовые термины в этом контексте становятся знаками с открытым, неокончательным содержанием²⁵. Данный способ выстраивания базовой терминологии (предметного поля) имеет ряд взаимосвязанных следствий:

У Фуко термин выступает не как имя “вещи”, позитивно определенной сущности предмета, которая могла бы конституировать его самотождественность (“власть как вещь”), но как знак множества отношений, которые не сводимы к какому-то одному, центрирующему, а потому выявляются через описание в ходе конкретных исторических анализов. Определение термина через изменяющийся предметный контекст, то есть зависимость его содержания от локуса дескрипции²⁶ позволяет в целом квалифицировать терминологический аппарат Фуко как множество поливалентных знаков²⁷, то есть знаков, семантика которых не задается общим однозначным определением (как логической операцией). Поливалентные, не определенные изначально термины приобретают всю полноту содержания только после введения в контекст оппозиций, где их значения, заданные локальными описаниями, связываются с наиболее абстрактными, лишенными

25 Отсюда вытекает столь характерный для Фуко апофатический способ теоретизирования.

26 То есть конкретного и ограниченного возможностью непосредственного наблюдения историком (как если бы он был очевидцем) региона событий.

27 Под поливалентными знаками, в смысле, близком к словоупотреблению самого Фуко или Барта (многозначность) здесь понимаются такие элементы текста (отдельные номинации, терминологические обороты, сложные атрибуции и т.п.), семантика которых не фиксирована однозначно логической операцией определения, а задается входжением данного знака в различные не сводимые (в плане определения семантики знака) друг к другу контексты. Это лишает знак устойчивой референтной структуры и создает обратимый и противоречивый горизонт его возможных значений (ср. с замечанием Фуко по поводу “тактической поливалентности дискурсов” [9, с.204]).

предметности схемами по принципу избирательного сродства. Помимо оппозиции “юридическое/аналитическое”, посредством которой Фуко, прежде всего, указывает на отличие собственного языка описания от традиционных и признанных, на базовом уровне зафиксированы следующие терминологические различия: “обыденный/аналитический дискурс о власти” [9, с.181], “закон/нормализация”, “право/контроль”, “тайна (как условие приемлемости)/цинизм власти” [9, с.185], “техники власти до XVIII/после XVIII века” [9, с.189], “власть как внешнее/ власть как имманентное прочим отношениям” [9, с.193], “центральная точка/область отношений силы” [9, с.199], “дискурс/стратегия” [9, с.200]. Наряду с ними в тексте ряд оппозиций зафиксирован как множество различий, не являющихся действительными: “подавление/закон”, “запрет/цензура” [9, с.180], “власть как отношения силы/власть как общее имя стратегической ситуации” [9, с.193], “знание/власть” [9, с.199], “обладание властью/отправление власти” [10, р.26]²⁸. Это дробное деление, где наряду с действительными оппозициями (в большинстве своем не дедуцируемыми из классических политфилософских) явным образом эксплицированы ложные, выступает инструментом борьбы за делегитимацию “юридически-дискурсивного”, натурализующего языка описания власти. В отношении традиционной терминологии социальных наук введение подобного механизма термирования фактически означает критику полагающей и объясняющей функции знака, претендующего на универсальность. Путем аналитического разложения “самоочевидной” классификации, легитимирующей традиционно используемый термин, Фуко в ходе исторического описания проблематизирует созданную актом номинации

28 Можно отметить, что многие терминологические оппозиции являются структурно подобными. Таковы, например, “юридически-дискурсивное/аналитическое описание” и “обыденный/аналитический дискурс”, а также “закон/ нормализация”, “право/контроль” и “центральная точка/область отношений власти”.

видимость соответствия “социальной вещи” ее привычному имени²⁹.

Во-вторых, тексты Фуко совмещают элементы классификации и способы построения, присущие различным символическим областям³⁰: художественному письму (изобразительность), истории (описательность, введение событийного ряда, элементы которого могут получать четкую хронологическую фиксацию), социологии (апелляция к институциональным определениям, разоблачение и критика обыденного сознания), политэкономии (описание социальных структур на языке “производства”, “распределения”, “обмена”), философии (критика классической эпистемологии, установление конечных источников многообразия). Установление отношений логического следования и родо-видовые упорядочения, выступающие основой единой классификации (действующей как дедуктивная система), не являются у Фуко базовыми процедурами построения текста. Это вызвано не только отсутствием строгого терминологического аппарата (что само по себе могло бы свидетельствовать только о недостаточной компетентности), но и — что более существенно — самим порождающим принципом вводимой классификации. Социальный мир на теоретическом языке Фуко представлен не в постоянстве предметного основания и не как закон, равномерно разворачивающийся во всех локусах дескрипции: “не существует никакой бинарной оппозиции между господствующими и теми, над кем господствуют,— такой, что эта двойственность распространялась бы сверху вниз на все более ограниченные группы, до самых глубин социального тела” [9, с.194]. В основании классификации обнаруживается прерывность

29 Приведем поясняющую основной текст цитату из “Археологии знания”, которая звучит почти гуссерлиански: “Необходимо усомниться во всех этих предзаданных общностях, группах, существующих до чистого рассмотрения, чья истинность предполагается с самого начала” [11, с.24].

30 Здесь и берет начало проблема дисциплинарной спецификации работ Фуко, которая возникает у его интерпретаторов.

(дифференцирующее отношение между свойствами)³¹, поэтому можно говорить об отсутствии единой референтной области такого теоретического языка в целом — насколько это вообще возможно в рамках профессионального объяснения социального мира. Разнообразие используемых символических практик, опирающихся на результаты дескрипции, обусловлено разнородностью, разноразмерностью и нерядоположенностью различных областей анализа: между ними “нет никакой дисконтинуальности, как если бы речь шла о двух разных уровнях (одном — микроскопическом, а другом — макроскопическом); но нет между ними также и гомогенности (как если бы один был лишь увеличенной или, наоборот, уменьшенной проекцией другого)...” [9, с.201]. Далее, при рассмотрении феноменальных признаков власти, мы обнаружим, какая референтная область (какое означаемое прерывности) лежит в основе классификации.

Такое построение текста вытекает из задачи, которая определяет работу Фуко над собственным представлением власти: теоретическая структура привычного представления “является тем кодом, в соответствии с которым власть себя предъявляет и в соответствии с которым, по ее же предписанию, ее нужно мыслить” [9, с.188]. По сути, прерывность, положенная в основу классификации социального мира, делает возможным создание языка описания власти, который не был бы аналитическим (в смысле Канта) по своей структуре, то есть в процессе своего функционирования не порождал бы тавтологических высказываний. Даже если изначально базовая терминология опирается на интуитивно доступные смыслы, то в результате ряда дистанцирований и разрывов, определения терминов через оппозиции, ссылающихся на структурное подобие множества локусов дескрипции, конечное социальное объяснение оказывается построенным от противного. Оно является зависимым от самоманифестации политической власти,

31 В отличие от предметности как совокупности вещественных свойств или объединяющего их свойства субстанции.

обыденного ее понимания, и, одновременно, направленным против нее.

В целом, опираясь на указанные особенности описания власти в тексте Фуко, мы можем характеризовать его построение такое, в котором критика разворачивается в трех направлениях: разоблачение обыденного представления о власти (власть, понимаемая традиционно, то есть так, как она сама себя предъявляет), что для Фуко равносильно “деконструкции” языка самоописания власти (тем самым Фуко наделяет собственный язык политической функцией); выявление исторических условий его возможности (путем раскрытия исторического генезиса ставшего очевидным представления о власти [9, с.186-191]); установление новых условий описания и понимания власти [9, с.192] (то есть построение новой классификации социального мира, разрывающей с “юридически-дискурсивными”, наследующими прозрачности и видимому тождеству власти представлению о ней): “Речь идет, таким образом, о том, чтобы, создавая другую теорию власти, образовать одновременно и другую сетку для исторической дешифровки; и, рассматривая сколько-нибудь тщательно исторический материал, мало-помалу продвигаться к другому пониманию власти” [9, с.191]. Ввиду этих задач теоретическое объяснение Фуко предстает классификацией неочевидного строения власти, власти в каждом конкретном локусе [9, с.194; 198], и одновременно конкуренцией с существующей юридически-дискурсивной моделью “Власти”, господствующим представлением о едином и непрерывном механизме правового господства [9, с.197-99] — то есть борьбой представлений, ставкой в которой являются они сами.

В силу автономного характера этой борьбы не молчать о власти и не производить представления, вписывающегося в ее самопредставление, означает у Фуко создавать объяснение, противостоящее очевидной, “юридической” модели. Стремясь обнаружить основания социального мира, не приемлемые в его самопредставлении, Фуко оказывается в роли пророка, который изменяет мир посредством сообщения новой, основополагающей

истины о нем. Как на терминологическом уровне, когда речь идет о разграничении действующих и недействительных оппозиций, так и на уровне критики очевидности “Власти”, предельной оппозицией, в рамках которой производятся все сопоставления и противопоставления, оказывается “реальная локальная власть/ложная, скрывающая реальную, всеобщая Власть”. Локальная власть, определяющие черты которой будут рассмотрены далее, являет собой полюс истинного, которому противостоит в основании классификации полюс ложного, претендующего на истинность. Именно ввиду окончательного определения истины, точнее, способа действия по отношению к ее скрытости (возвращение ее в социальный мир), мы вправе говорить о стратегии Фуко-теоретика как пророческой. В ее рамках внешне неупорядоченное использование различных профессиональных классификаций, игра на поливалентности знаков, художественная образность имеют целью произвести текст, не говорящий не о власти — исключая себя из существующего порядка путем исключения теоретического (логического) порядка из себя самого.

В силу указанных оснований в работах М.Фуко нельзя найти законченной, систематически разработанной теории власти. Сам Фуко предпочитает говорить не о теории, а об аналитике власти. Впрочем, последовательного терминологического различения “теории” и “аналитики” он не производит. Введение власти в горизонт теоретизирования (вернее сказать, аналитики), полагание ее позитивных, а также негативных определенностей осуществляются им ввиду анализов конкретных локусов дескрипции: “Итак, будем отправляться от того, что можно назвать “локальными очагами” власти-знания, такими, например, отношениями как отношения завязывающиеся между кающимся грешником и исповедником, или между верующим и наставником” [9, с.199]. При этом, уровень локальных дескрипций и уровень отношений структурного подобия не связаны здесь никакими посредующими звеньями,

существование которых могло бы указывать на допущение Фуко единого, доступного полному охвату наблюдаемого пространства. Критика единого пространства как протяженной “всеобщей вещи” (*res extensa*) отчетливо выступает в следующем апофатическом определении: “Властью я называю не “Власть” как совокупность институтов и аппаратов, которые гарантировали бы подчинение граждан в каком-то государстве ... Я не имею в виду и всеобщую систему господства, результаты которого через ряд последовательных действий пронизывали бы все социальное тело ... Условие возможности власти... не следует искать в изначальном существовании некой центральной точки, в каком-то одном очаге суверенности, из которого расходились бы лучами производные и происходящие из него формы; таким условием является подвижная платформа отношений силы, которые индуцируют, благодаря их неравенству, властные состояния, всегда, однако, локальные и нестабильные” [9, с.191-193]. Таким образом, референтной областью прерывности, лежащей в основании классификации социального мира, являются отношения силы. “Социальное тело”, классифицируемое через их неоднородную множественность, не приобретает каких-либо окончательных основополагающих свойств. Заданное через оппозицию “центральная точка/подвижная платформа”, оно оказывается условным телом, составленном не “социальными вещами”, но множеством отношений. И здесь можно наблюдать явное соответствие между зафиксированной ранее критической функцией термина в тексте Фуко и отказом от догмата о пространственной однородности социального мира³².

³² В этом определении второе вхождение термина “власть” (с большой буквы и закавыченное) превращает его в знак метаязыка, охватывающего как уровень традиционных представлений, так и уровень их критики. С одной стороны, это позволяет Фуко вести игру на двойственности значения “власти”. С другой стороны, явное задание границы, отделяющей “власть” от “Власти”, само выступает в качестве процедуры аналитики, предваряющей анализ “микрофизики” власти на базе локальных исторических дескрипций.

Помимо “микрокапилляров”, образно представимых именно в пределах единого “социального тела”, какими характеристиками обладает социальное пространство, реконструируемое путем “установления специфической области, которую образуют отношения власти” [9, с.181]? Уже в способе контекстуального задания первоначальных характеристик власти можно отметить ее обращенность на себя: власть скрывает значительную часть себя [9, с.186], формой приемлемости власти является запрет [9, с.186] (запрет — форма представления себя инстанциями политической власти [9, с.186]), власть взяла на себя заботу о жизни людей “как живых тел” [9, с.189]. Власть, лишенная признаков “вещи”, участвующей в “играх” присвоения, обмена, распределения [9, с.194], не является и свойством, которое может “принадлежать” или быть атрибутировано конкретному социальному агенту, классу или группе [10, р.26]. Она оказывается отношением с самим собой, то есть самореферентным событием, говорящим о себе и себя представляющим³³. Самоотнесенность “области отношений власти” превращает ее в субстанцию, которая сохраняет основной атрибут *causae sui*: оставаясь замкнутой на себя, она является “действующим отношением” [9, с.194]³⁴.

Но, как мы уже отмечали, эта субстанция лишена качественной однородности, а также прозрачности и, тем более,

33 Ж.Делез, представляя тезис Фуко о власти как силе (о чем пойдет речь далее), отмечает, что из самого происхождения силы как внешнего проистекает “отношение силы к самой себе, способность ее воздействия на саму себя, воздействие самости на самость” [12, с.132].

34 Исходное определение субстанции у Спинозы звучит следующим образом: “Под субстанцией я разумею то, что существует само в себе и представляется само через себя, т.е. то, что не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться” [13, с.589]. Особого внимания заслуживает то факт, что у Фуко воспроизводится не только определение существования субстанции через себя, но и ее представления через себя, которое принимает форму “юридически-дискурсивного” понимания политической власти.

какой-либо телеологической предзаданности: в доведенной до конца номиналистской логике власть в одном из определений оказывается не более, чем именем “сложной стратегической ситуации в данном обществе” [9, с.193]. Мы сталкиваемся с явным парадоксом, в рамках которого совмещается реальность власти и ее отсутствие. В действительности, противоречивое указание свойств власти имеет самую прямую связь с пространственной схемой, лежащей в основе такого описания социального мира. На уровне эксплицитных определений “власти” этот парадокс проявляется еще более остро: власть, будучи субстанцией, теряет свою самоидентичность.

С одной стороны, власть — это “множественные отношения силы, которые имманентны области, где они осуществляются и которые конститутивны для ее организации” [9, с.192]. Власть, как отношение, здесь получает также область актуализации. Власть воплощается, принимает ту или иную конкретную форму, оставаясь в предельном значении только “множеством отношений силы”, то есть сложившимся, актуальным порядком в его очевидности. Тут же содержание термина “власть” дополняется повторным вхождением термина³⁵, подтверждающим самореферентный характер феномена: под властью следует понимать “игру, которая путем непрерывных битв и столкновений их [отношения силы] трансформирует” [9, с.192]. То есть область отношений власти совпадает с областью отношений силы, а власть предстает игрой, которая их (то есть себя) трансформирует. В данном случае оба определения власти даны не через различие власти от не-власти, но и не через отождествление с чем-то другим — через тождество ее с самой собою. Таким образом, избегнув точной терминологически фиксации предмета, Фуко воспроизводит определение субстанции: сила в изменении тождественна себе.

³⁵ Определение “власти как силы” осуществляется в логике, уже нами охарактеризованной: “власть” функционирует как знак, описывающий область самоманифестации феномена, и, одновременно, как знак метаяуровня.

С другой стороны, если Фуко, вслед за Спинозой, последовал бы субстанциалистской логике описания эманаций Бога-природы, мы обнаружили бы, что различные области-локусы актуализации силы относятся к ней как модусы³⁶. Тогда как Фуко утверждает прямо противоположное. Раскрывая номиналистский тезис “власть — только имя”, он говорит: “Власть повсюду не потому, что она все охватывает, но потому, что она отовсюду исходит. И “власть” — в том, что в ней есть постоянного, повторяющегося, инертного и самовоспроизводящегося, — является только совокупным эффектом, который вырисовывается из всех флуктуаций...” [9, с.192]. Этим он утверждает прямо противоположное субстанциальной логике, выраженной Спинозой в тезисе: “... Только он один [Бог] существует и действует по одной лишь необходимости своей природы ... следовательно, только он один и есть свободная причина” [13, с.606]. Валентность знака “власть” инверсируется: из конечного условия упорядоченности всякой социальной области власть превращается в ее собирательную характеристику. В качестве основы самождественности, условия того, что под “властью” понимается то же, что и прежде, сохраняется только ее имманентность³⁷. Потерявшая роль генетической первоосновы множества локусов социального мира, “власть” становится именем структуры каждого из них, где имманентность различным областям оказывается не результатом ее сущностного превосходства, но следствием подобия всех социальных

36 “Под модусом я разумею состояние субстанции (*Substantiae affectio*), иными словами то, что существует в другом и представляется через другое” [13, с. 589].

37 При этом, признак имманентности устойчиво воспроизводится в характеристике власти: точки власти как имманентные обществу [9, с.193], отношения власти как имманентные другим социальным отношениям [9, с.194], сопротивление как имманентное власти [9, с.196], точки сопротивления как имманентные отношениям власти (“неустранимое визави”) [9, с.197], власть имманентная телу (то есть другим областям отношений) [9, с.200].

упорядочений.

Таким образом, на уровне предельных дефиниций власть оказывается одновременно источником и результатом: оставаясь в рамках наиболее открытого и неопределенного значения, “власть” обозначает субстанцию, которая не имеет причины в себе самой: “Отношения власти не находятся во внешнем положении к другим типам отношений, но имманентны им; они являются непосредственными эффектами разделений, неравенств и неуравновешенностей, которые там производятся; и, наоборот, они являются внутренним условием этих дифференциаций” [9, с.194]. Как это возможно, какая пространственная схема могла бы удовлетворять такому описанию? Воспользуемся в качестве вспомогательной метафоры определением из работы по теории множеств и общей топологии:

“Ввести в какое-либо множество X открытую топологию — значит выделить некоторое семейство \mathcal{B} подмножеств множества X таким образом, чтобы выполнялись следующие условия:

I \mathcal{B} . Все множество X , а также пустое множество Λ суть элементы семейства \mathcal{B} .

II \mathcal{B} . Объединение любого числа и пересечение конечного числа множеств, являющихся элементами семейства \mathcal{B} , суть элементы семейства \mathcal{B} .

Множество с введенной в него открытой топологией \mathcal{B} называется *топологическим пространством* (X, \mathcal{B}) , элементы самого множества X называются *точками* пространства (X, \mathcal{B}) , а множества, являющиеся элементами семейства \mathcal{B} , называются *открытыми множествами* пространства (X, \mathcal{B}) ” [14].

Опираясь на уже приведенные характеристики власти, мы можем отметить структурное подобие между математическим определением топологии и свойствами пространства, предполагаемого описанием Фуко. Попытаемся произвести ряд сопоставлений между математическим определением и развернутой характеристикой отношений власти. Если в качестве

исходной для Фуко выступает самоманифестация политической власти, какой она дана в обыденном или “юридически-дискурсивном” представлении (множество X), то предметом аналитики, как мы показали выше, оказываются “множественные отношения силы”, которые вытекают из свойств конкретной области и, одновременно, выступают ее порядком (Б). При этом, релевантное аналитике содержание термина “власть” охватывает также множество представлений, обозначенных Фуко ““Властью”” (IБ). Результатом аналитики оказывается такое описание социального пространства, где “условием власти ... является подвижная платформа отношений силы, которые индуцируют постоянно ... властные состояния, всегда, однако, локальные и нестабильные” [9, с.193] — то есть своего рода социальная топология, реконструированная исследователем на основании порядка, произведенного политической властью (IIБ). Это пространство обладает тем свойством, что власть “производит себя в каждое мгновение в любой точке или, скорее, — в любом отношении от одной точки к другой” [9, с.193] (топологическое пространство (X, Б)).

Таким образом, схема социального мира у Фуко оказывается подобной схеме топологического пространства, в котором множество отношений Б не только самореферентно, но и предполагает возможность выделения открытых множеств (X, Б): условием власти является сила (власть), которая производит власть (властные состояния) и не существует гетерогенной, детерминирующей ее точки (или области) определения власти “как таковой” (будь то суверенитет государства, право, социальный агент и т.д.) [9, с.193]. Собственно, эта неопределенность (и вместе с тем, предельная автономия), зафиксированная у Фуко также на уровне терминологии, является исходной для него как аналитика власти: во властные отношения оказывается вовлечен он сам, едва заявив о намерении или способности определять власть. Игра, каковую предстает власть, будучи принципиально автономным процессом, позволяет

теоретику элиминировать из анализа фигуру Закона и ввести себя самого, установив, что, в зависимости от точки наблюдения и предпосланного теоретическому описанию интереса, социальная топология будет приобретать различные очертания, приближаясь или отдаляясь от уже существующей саморепрезентации “Власти”. В этом случае именно выявление различных, не сводимых друг другу порядков власти (то есть его собственное описание социального мира), противостоящее конституированию однородного и универсального “Порядка Власти”, становится политической ставкой Фуко. Там, где “Власть” в самоманифестации предполагает тождество, выступающее формой ее самосокрытия, аналитика власти призвана выявлять различия.

Критикуемое Фуко самопредставление политической власти состоит в том, что “...власть действует якобы всегда единым и всеохватывающим образом ... от государства до семьи, от государя до отца, от трибунала до разменной монеты обыденных наказаний, от инстанций социального подчинения до структур, конститутивных для самого субъекта, — *одна и та же ... всеобщая форма власти* [курсив наш — А.Б. и С.Г.]” [9, с.184]. В логике описания социального мира через его качественную неоднородность, которая вытекает из заинтересованного характера знания, Фуко вводит подобную визуальной метафору власти: “...Точки сопротивления присутствуют повсюду в сети власти... Они являются другим полюсом внутри отношений власти... Чаще всего имеют дело с блуждающими точками сопротивления, которые вносят в общество перемещающиеся расслоения, разбивают единства и вызывают перегруппировки... Рой точек сопротивления пронизывает социальные стратификации и индивидуальные единства” [9, с.196-97]. Здесь разрыв с принципом смежности тел в рамках физической, интуитивно доступной модели пространства мы обнаруживаем во взаимном определении власти и “точек сопротивления”, в котором, с одной стороны, власть — “строгая функция множественности точек сопротивления” [9, с.196], с другой, сами

эти точки приобретают свою определенность только в области отношений власти (как “другой полюс” внутри нее). Взаимной несводимостью элементообразующих свойств пространства, в которой каждый предоставляет место другому, окончательно разрушается устойчивость оппозиции “первичное/вторичное” или “внешнее/внутреннее”, свойственной физической модели³⁸. То есть тому представлению о социальном пространстве, в котором находит свое выражение “Власть” как единое и унифицирующее основание. “Целое социальное тело” [9, с.194] не предполагает всеобщей упорядоченности: “пропитанное” сетью властных отношений, оно состоит из пульсирующих и блуждающих точек, конституирующих власть и конституируемых ею.

Разрыв с моделью прозрачного и повсеместно доступного для наблюдения социального пространства, осуществленный в рамках аппарата классификации и в отношении предмета аналитики, позволяет Фуко позиционироваться на полюсе автономного (независимого, прежде всего, от политического) производства представлений. Топологическая пространственная схема здесь выступает в качестве гарантии нередуцируемости результатов аналитической классификации к самоманифестациям институционального политического порядка. Ставкой во властном взаимодействии для Фуко выступает описание/объяснение социального мира, разрывающее с традиционным правовым (“юридическим”) представлением, фиксацию которого он относит к XVIII веку. Ценой этого разрыва становится невозможность использования субстанциалистской, наследующей новоевропейской метафизике, логики теоретизирования. Задание пространственной неоднородности власти, вплоть до уровня образности, позволяет Фуко в конечном счете в противовес “праву” определить власть как “стратегию” [9, с.204] — отношение без операндов “чьи” и

38 О чем Ж.Делез пишет как о сущностном признаке способа теоретизирования Фуко: “любое пространство внутреннего, с точки зрения топологии, соприкасается с пространством внешнего, независимо от расстояний вблизи пределов “живущего”...” [12, с.155].

“по отношению к кому”.

Логика тождества в тексте и теоретической схеме Парсонса

Выделив в построении Фуко модель, где власть предстает рассеянным и, вместе с тем, повсеместным отношением, описанным через отнесенность к себе, обратимся к тексту и схематике теоретических работ Парсонса. Анализируя его работы ввиду понимания текста как означенных властных отношений, мы обнаруживаем следующие особенности:

Во-первых, формально исходной в тексте выступает аргументация и терминология, заимствованная из естественных наук, прежде всего, классической механики, кибернетики, биологии. Конечное объяснение при помощи универсалий “система”, “функция”, “роль” производится через условные конструкции “мы сравнили бы ... с ... как она понимается в...”, “в этом смысле ... аналогично ...” и подобные, неявно допускающие описание специфически социального посредством отсылки к корпусу знания, объясняющего не-социальное: “Всякая социальная система есть функциональное единство ... В этом смысле она аналогична организму” [15, p.143]. Эти конструкции, используемые при построении текста теории, объединяет модальность “как если бы”, несмотря на то, что референтом входящего в них термина в каждом случае заявляется та или иная эмпирически ограниченная область социального мира (политика, экономика и т.д.). Отсылая таким образом к точным наукам, Парсонс использует наиболее широкие представления о физической реальности, которые не являются строго научными, то есть не описывают мир в соответствии с его физической моделью, но предстают резюмирующими метафорами всякой функции, всякой системы, всякого кибернетического устройства. Заимствуя и нестрого используя язык наук о природе для описания социального, Парсонс не предлагает свою классификацию в качестве инструмента анализа физических условий не-физического, но присваивает своей

теории статус научной, легитимируя ее через признанный в естественных науках понятийный ряд.

Именно потому, что предельные категории объяснения являются одновременно метафорами, заимствуемыми из “чужого” корпуса знания в модальности “как если бы”, в тексте они заданы конвенционально, вне проблематизации их соответствия реальному строению социального мира: “Власть может, для настоящих целей, пониматься как...” [16, р. 224]. Для текста Фуко, как мы отмечали выше, характерно выстраивание оппозиций, посредством которых производится проблематизация, то есть отказ от простой классификации через перечисление имен. В тексте Парсонса отчетлива обратная тенденция: сведение через условные конструкции категорий одного рода знания к категориям другой — то есть попытка создания единой и непротиворечивой классификации, охватывающей собою “всякую систему”.

Во-вторых, если у Фуко мы сталкиваемся с явным противопоставлением различных способов описания власти, среди которых он явным образом указывает на отличие собственного, в тексте Парсонса обнаруживается прямо противоположная операция над корпусом актуальных представлений. Определение власти, точнее, границы понятия власти существенно размываются в тексте, который настаивает на истинности различных способов ее определения, имеющих общий “центральный (core) комплекс смыслов” в рамках “великой Западной традиции мысли о политических явлениях” [17, р.298], способов, отличающихся только в деталях, но истинных in core. Цель статьи “О понятии политической власти” заявляется как “попытка прояснить этот комплекс смыслов и отношений путем помещения понятия власти в контекст общей понятийной схемы анализа обширных и сложных социальных систем, то есть обществ” [17, р.298]. Через удвоение, в контексте “общей понятийной схемы”, общего основания в понимании “власти” производится попытка представить уже не только универсальную классификацию для “всякой системы”

(общество — ее частный случай), но и классификацию классификаций, которая, как и прежняя, внутренне непротиворечивым образом сочетала бы в себе разнообразные имена власти. В тексте, определенном этой целью, понятие, освященное “великой традицией”, не разлагается на составляющие, но принимается “как есть” — как общность смыслов, в пределе тождественных не только истине священной традиции, но и обществу, частью истории которого эта традиция является. В контексте властной стратегии теоретика этот ход приобретает то же значение, что и в предшествующем случае — легитимация через существующую традицию. Но если ранее социальное объяснение легитимировалось через не-социальное, то теперь конкретная интерпретация приобретает вес через ссылку на все предшествующее и признанное “великим” в области социальных дисциплин. При смене предметной области и формы заимствования мы фиксируем тот же властный ход: отсылка к авторитету, отождествление себя с ним.

В отличие от Фуко, в тексте которого из разрыва с самописанием политической власти возникает новое синтетическое определение, Парсонс принимает в качестве понятия сложный и противоречивый, но полагаемый самоотждествленным комплекс легитимных представлений “Западной мысли”, тавтологию “власть есть власть, как ее понимают все [великие]”, которая никак не отграничена от самоочевидности политического господства, произведенной в его рамках. Таким образом, текст теории власти воспроизводит структуру непротиворечивой классификации классификаций, порождающей основой которой выступает нерелексированная, но легитимная терминологическая конвенция.

В-третьих, и именно из-за этой неразличимости множества смыслов в одном “центральном” термине, оппозициональная структура текста ориентирована не на исторические или социальные различия, но на деления и различия внутри классифицирующего понятия “власть”, разворачивающегося в логике тождества (ниже это положение

мы поясним образцами из работ Парсонса). Текст приобретает самодостаточность, продолжаясь как описание и уточнение самого себя: если у Фуко автономной предстает референтная область знака “власть”, то у Парсонса автономной предстает сама номинативная классификация. Однако помимо “бесплодной игры в понятия”³⁹ текст воспроизводит ряд содержательных определений власти, даваемых в том числе через примеры и пояснения. Источник этой качественной специфики, отраженной в ряде оппозиций текста, следует искать в том, что есть общего у конвенционально объединяемых представлений. Поскольку социально-теоретическая классификация, как было отмечено выше, оказывается сводимой к обыденной и политической очевидности, содержательные оппозиции оказываются простой аналогией. Они повторяют строение взятого в своей непосредственной (то есть политически предзаданной) данности социального мира и оказываются, таким образом, категориями здравого смысла, которым приданы другие знаки-имена⁴⁰.

Таковы, например, “права/обязанности”: “Юридические нормы... управляют распределением размещением прав и обязанностей, благ и поощрений...” [19, р.163]. Права и обязанности оказываются, как и в случае самого определения “власти”, не предметами анализа, но базовыми конвенциями обыденного восприятия, объектами, взятыми в своей непосредственной очевидности⁴¹. В целом, оппозиционные

39 Критикуя стиль объяснения Парсонса, Ч.Миллс дает ему следующую характеристику: “Представители “Высокой теории” настолько поглощены синтаксическими построениями и мало заботятся о соотношении их семантики с реальностью, настолько жестко ограничивают себя высокими уровнями абстракции, что их “типологии”, и вся работа по их построению, представляется скорее бесплодной игрой в понятия...” [5, с.46].

40 Ср. это с характеристикой подобного стиля теоретизирования как переименования, данной Хомансом [18].

41 Точно так же, в контексте рассмотрения социальной роли института, в “естественной” перспективе рассматриваются общие права/обязательства в отношении действий, ожидаемых другими [20,

деления вводятся как неявные политические оппозиции (“всякое общество/??”⁴²), (“власть/сила” [21, р.266; 313], “позитивные/негативные санкции” [17, р.310]) или как произвольная смысловая дифференциация (“сила/насилие” [16, р.265], “полития/правительство” [16, р.315], “пропаганда/убеждение” [15, р.143]). Особенно отчетливо обыденный и политический характер исходных содержательных делений открывает язык примеров, в которых системные термины напрямую соотносятся с политической лексикой (“мотивация широких слоев населения”, “период холодной войны”, “быстро меняющаяся ситуация”, “мировое лидерство”, “изоляциялизм”, “маккартизм” [19, р.161]) или с повседневными классификациями (удержание — арест, наказание — штраф за неправильную парковку, демонстрация — запугивание [21, р.267-8]). Обнаруженные элементы стратегии наименования позволяют видеть, что и в случае с примерами исходной для социологического объяснения власти оказывается легитимная извне точка зрения, которая теоретическое описание отождествляет с обыденным (политическим). Как и в первых двух случаях, легитимация собственного объяснения в тексте производится Парсонсом через авторитет внешней инстанции.

В силу внешней легитимности построений, наиболее общим в логике отождествления остается противопоставление

р.121], блага (facilities)/вознаграждения (к числу которых относится и власть), престиж [20, р.124], деньги/власть ([20, р.125] и [16, р.227]).

42 Описывая социальные системы, Парсонс нередко апеллирует к “современному”, “либеральному” [21, р.282], “экономически продвинутому” [21, р.284], “высокодифференцированному”, ([21, р.224] и [19, р.163]), обществу, перенося его характеристики на “всякое общество”. “Всякое”, таким образом, наполняется содержанием как “современное”, и возможные оппозиции “современное/традиционное”, “всякое/конкретное” трансформируются в неразличимую цепь отождествлений, в которой речь идет одновременно о функционировании любой общественной системы и о США, обычно приводимых в качестве примера при описании функционирования политической подсистемы.

системы в целом (единой классификации классификаций) любого рода различиям (как множеству частных). Априорное допущение единства социального мира, довлеющее языку его описания, в конечном счете превращает текст в пространство игры всеобщности/произвольности суждений, в которых социальный мир предстает неизменно тождественным своей системной классификации, а изменения и дополнения классификации — тождественным себе уточнением. В этой игре правила классификации всегда оказываются монополией теоретика, наблюдателя, который благодаря позиции *над* и *вне* описываемого мира присваивает исключительное право представлять его в целом, говорить от его имени. Если мы обозначили способ классификации социального мира Фуко как пророческий, исходя из его отношения к оппозиции “скрытая истина/ложь (не-истина), манифестирующая себя истиной”, то по тому же основанию стратегия Парсонса может быть обозначена как жреческая. Центральной для нее является допущение предпосланной, всегда существующей истины (в данном случае, это истина “великой Западной традиции”), которая нуждается только в дальнейшем истолковании и разъяснении. Действующей оппозицией этой стратегии оказывается “верное/неверное истолкование истины”, в рамках которой ведется полемика о недостаточно полном представлении о власти как игре с нулевой суммой (согласно Парсонсу, в действительности, с ненулевой) [17, р.299; 337-44] или о “власти”, не тождественной “силе” [21, р.266] — тогда как сами основания подобных различий (количественная измеримость власти, восходящая к утилитаризму Бентама, или возможность видеть отличие “грубой силы” от институционализированной власти [17, р.313]) никак не обосновываются и не проблематизируются, поскольку предстают очевидными, интуитивно доступными теоретику.

Как и у Фуко, в тексте Парсонса совмещаются элементы классификации и способы построения различных символических областей, которые задают свойства произведенной им классификации социального мира. Однако они играют

существенно отличную роль в структуре окончательной классификации. Доминирующие в тексте Парсонса естественнонаучные терминология и схемы причинности по аналогии с естественной имеют источником научно и политически признанное господство над природой, а значит, над условиями социальной организации — что придает самому его построению, наследующему легитимным источникам господства, легитимный характер⁴³. Через опору на истину традиции легитимируется частное видение феномена власти, и, наконец, обыденный здравый смысл в основе теоретического объяснения служит залогом его успеха у непрофессионала (у Фуко последней цели служит художественность изложения). И если Фуко производит в тексте прежде всего последовательность (пророческих) различий истинного понимания власти от неистинного, то у Парсонса множество легитимированных извне представлений, маскируемых модальностью “как если бы”, отождествляется на базе системного, наиболее общего, в котором имя события является его определением. Наиболее общая социальная классификация, образуемая на основе словаря: “роль”, “ожидания”, “функция”, “система”, “структура”, “правомерный” — гарантирует истинное понимание социального мира и власти именно в силу наибольшей абстрактности, вмещающей по условиям игры всеобщности/произвольности любой набор тезисов. Текст, претендующий на представление монопольного взгляда, на высшую власть наблюдателя над реальностью, оказывается наиболее полно подчинен ее простым самоманифестациям. Властный интерес теоретика не позволяет обнаружить эту несамодостаточность жреческой речи — теория Парсонса стремится представить весь социальный мир как самотождественный и тождественный его теоретическому описанию. И одним из наиболее явных “жреческих” атрибутов выступает множество размещенных в работах графических схем, редуцирующих общество, обмен, власть к их наглядным

43 Благодарим Ю.Л. Качанова, результатом внимания которого к настоящему тексту явилась эта формулировка.

изображениям, которые заставляют воспринимать сам текст теории только как комментарий к образам, возникающим перед “всевидящим глазом” наблюдателя.

Теперь мы возвращаемся к основному вопросу: какая схема социального пространства соответствует описанному построению текста? Как пространственно конструируется власть посредством классификации, которая представляет преимущественно самое себя и легитимирована внешними источниками деления и видения социального мира? Начнем анализ с определений власти, которые дает Парсонс. Как и в случае с работами Фуко, мы должны будем реконструировать пространственную схему, так как и у Парсонса мы не обнаружим ее эксплицитной формулировки.

Исходное по простоте определение власти, освященное “великой традицией Запада”, мы обнаруживаем в формуле власти как чистой способности и субъективного произвола — “способности добиться реализации желаемого (to get things done)” [16, p.225]. Его инвариантом выступает пере-определение власти на системном языке: “способность социальной системы мобилизовать ресурсы для достижения коллективных целей” [16, p.225]. Существенное, хотя и незаметно произведенное отличие второй формулы состоит в замене произвола субъекта объективной телеологией, которая делает властную волю неслучайной. В этой логике закономерным третьим шагом оказывается власть как “способность социальной системы добиться реализации результата (to get things done) в ее коллективных интересах” [16, p.225]. Вопрос власти как произвола окончательно устранен тем, что обладание волей и вообще свойства субъекта перенесены на систему: она добивается, она имеет свои интересы, она желает. Социология превращается в анализ единственного субъекта — системы, а теория власти — в описание системной воли, в конечном счете, во “власть в моем смысле” [17, p.308], не нуждающуюся в эмпирических коррелятах и получающую реальность только в

рамках понятия системы. Социальное пространство оказывается тождественным пространству системы.

Принципиально иным предметным пониманием власти выступает ее определение по аналогии с деньгами. Если в первом случае власть — воля, то здесь она — средство: “Власть... циркулирующее средство обращения (medium), аналогичное деньгам, в пределах того, что называется политической системой, но в особенности за пределами ее границ, внутрь трех остальных смежных функциональных подсистем общества...” [17, р.306]. В контексте отождествления экономического и политического анализа базовыми связками оказываются “власть — деньги”, “золото — сила” [17, р.299-304]⁴⁴. Посредством аналогии контекстуально задается определение власти как обладания — власти, которую можно “тратить”, “обменивать”, которой можно распоряжаться [21, р. 279-80]. Данное понимание утверждает тождество условий возможности и метода наук об экономике и политике [17, р.299] и тождество власти и денег в едином основании — системном контроле. Пространственно власть определяется как вещь (res extensa), занимающая место, имеющая границы, смежная по ним с другими вещами в рамках системы.

Вместе с тем, в пространство системы власть вписывается как “обобщенное средство принуждения” [21, р.278], что делает инструментальное определение власти “как если бы” сводимым к определению телеологическому. Система оказывается носителем не только воли, но и своеобразной рассудочности, результатом которой становится набор эффективных средств принуждения. Наделение системы рассудочностью явственно проступает в метафоре органической сферы, которую словно бы выбирает

44 А также ряд оппозиций, производящих частичное растождествление, но не изменяющих основного способа теоретизирования через аналогию власти и денег: {собственность № деньги} ∈ {власть № властный авторитет} [17, р. 319-20], “иерархический характер системной власти/линейный численный характер богатства и денежного имущества” [17, р. 327], “экономическая полезность/политическая эффективность” [17, р.337].

функция для своего размещения. Например, функция интеграции высокодифференцированного общества “преимущественно сосредоточивается в его системе юридических норм и инстанциях, связанных с ее управлением, прежде всего, судах и юридических профессиях” [15, р.163]. А что касается власти, то “в современном дифференцированном обществе наиболее важными “производителями” власти ... являются те, кто занимает ответственные позиции ... в федеральном правительстве” [16, р.225]⁴⁵. Власти приписывается не только протяженность и ограниченность в рамках системы (свойства *res extensa*), но и функциональное назначение, вытекающее из атрибуции рассудочности системе в целом (свойства *res cogitans*). Пространство системы, в котором взгляду Парсонса открывается власть, приобретает двойственные характеристики: власть используется системой как вещь, ее тождество деньгам (не-власти) составляет условие ее инструментализуемости; здесь же на власть, как на часть системы, неявно переносится признак рассудочности (в той мере, в какой она — самостоятельная вещь, она *res cogitans*). В отличие от Фуко, который подрывает субстанциалистскую логику изнутри, вводя несамодостаточность самодостаточной власти, Парсонс субстанциализирует систему по двум основаниям (как *res extensa* и *res cogitans*), приближая ее в пределе к постулату Спинозы: “Кроме Бога никакая субстанция не может ни существовать, ни быть представляема” [13, с.600]. И этой субстанцией оказывается система, мыслящая себя во взгляде теоретика.

Наконец, определение, в котором эта двойственность получает синтетическое разрешение, власть приобретает в контексте имплицитного тождества “политическая система —

45 Особенно стоит отметить, что слово “производители” здесь дано в кавычках, как метафора проблематизирующего термина, принимающего в кавычках обратный, то есть натурализующий, смысл. При этом мы помним, что под “высокодифференцированным обществом” у Парсонса подразумеваются США — что весьма недвусмысленно указывает на политическое измерение подобного телеологического универсализма.

государственные институты”, в связи с различием “власть/сила”, где первой атрибутируется зависимость от системы институционального порядка (власть отождествляется с целью через “институциональную систему ценностей”), а второй — независимость от таковых, в рамках которых она понимается как крайнее средство принуждения [17, р.313]. Представляя отправление власти как превентивный в отношении нежелательных действий механизм, а силу как “последний аргумент”, Парсонс превращает любое властвующее “я” в субъект, в котором обнаруживаются знакомые черты “государственного органа”, распоряжающегося этой силой. Подобно тому, как действующим субъектом оказывается система в целом, субъект власти, любое “я”, “будь то индивид или организованная общность” [21, р.266], оказывается эвфемизмом, скрывающим веберовское определение государства. К числу определений власти по аналогии добавляется “институт” и “государство”. Гомогенизированное ими социальное пространство — пространство системы — окончательно становится единой субстанцией, в которой исчезает различие *res extensa/res cogitans*⁴⁶, а инструмент самовоплощения субстанции (институты вообще и государство в частности) становится ее атрибутом.

Здесь мы обнаруживаем полное соответствие власти, обладающей институциональным “центром” и способностью унифицирующего воздействия на общество, “юридически-дискурсивной” модели, выступающей объектом критики Фуко. Это соответствие со всей отчетливостью обнаруживает проблему диспаритета теоретических классификаций, которая с самого

46 Имплицитно допуская тождество законов системы с механической каузальностью, разума теоретика с системностью общества, а, отсюда, системы-механизма с системой-субъектом, Парсонс, таким образом, полагает единое основание для всех системных событий, которое в явном виде можно обнаружить в королларии Спинозы к теореме о существовании только одной субстанции: “Следует, что вещь протяженная и вещь мыслящая (*res extensa* и *res cogitans*) составляют или атрибуты Бога или состояния (модусы) атрибутов Бога” [13, с.601].

начала присутствовала в предпринятом нами рассмотрении: язык аналитики Фуко предоставляет место в социальном мире также теоретику, включая Парсонса, производящего “теорию Власти”; между тем, в языке последнего отсутствуют специализированные средства описания и объяснения заинтересованной позиции теоретика и ее воздействия на символический порядок. В крайнем случае, “социолог” оказывается одной из институциональных ролей, содержание которой не является определяющей для содержания его теории — тогда как Фуко, напротив, предлагает рассматривать дискурс знания в качестве поливалентного элемента властной стратегии [9, с.204], связывая его использование с характером властного интереса. В силу такого диспаритета и ввиду принятых нами задач и языка исследования (генетически близких к таковым Фуко), мы с самого начала способны говорить о Парсонсе на языке Фуко, но не наоборот. Очевидно, что и критические импликации, и невнимание к роли Парсонса в истории социологии, мы наследуем в рамках анализа властной обусловленности знания. Произнося имена П.Бурдьё, из чьего понимания социального пространства мы исходим, и М.Фуко, в этом контексте мы склонны не противопоставить их друг другу (как это делает иногда сам Бурдьё), а объединить их теоретические схемы, придав оппозиции окончательный вид: “Фуко, Бурдьё/Парсонс”. Однако то, что предстает для нас важным — это не обновленная историко-социологическая классификация, а инструментальное значение рассматриваемых схем и границы их применимости. Логика отождествления власти с не-властью у Парсонса, в отличие утверждения власти в дифференцирующем тождестве с самой собою у Фуко — вот конструктивные элементы их теоретических построений, которые позволяют нам устанавливать действующее отношение к социальному миру, рассмотренному социологически (даже если в собственной логике теоретика оно неочевидно). Рассматривая работы Парсонса более пристрастно и критически, мы, таким образом, не просто оцениваем (субъективно и социологически) их

содержание. Наша цель: раскрыть механику построения социального пространства в обоих случаях и обозначить стратегическое содержание каждого из них.

Если продолжать рассмотрение подобных “государству”, не всегда окончательно эксплицируемых аналогий у Парсонса, мы обнаружим еще несколько разноуровневых определений власти, таких как решение, действие, организация, даже интеграция,— сосуществующих с уже указанными государством, институтом, способностью, коллективными целями, средствами контроля. Понятие выстраивается каждый раз на основании тождества определяемой власти и определяющей не-власти, что превращает определение феномена в бесконечную, открытую вовне цепочку аналогий, чьи звенья комбинируются и дополняются путем произвольного заимствования из различных предметных областей и здравого смысла. Однако субстанциальный монизм, постоянно размывающийся во множестве уподоблений, остается исходным в определении власти и системы в целом. Учитывая перенесение на систему свойств субъекта, приписывание ей интенциональности, мы можем говорить о существовании общей логики в определении власти как вещи, отношения, события в социальном пространстве. Указывая каждый раз принципиальные различия в определениях власти, мы отмечали, что большинство из них так или иначе сводится к некоторой системной телеологии. Именно цель, точнее, иерархия целей, оказываясь высшим проявлением интенциональности системы, сводит у Парсонса все предметное разнообразие к единому основанию и позволяет говорить о редукции к однородности, не строгой понятийной, но императивной, как и в построении текста.

В пределе, все аналогии совмещаются в пространстве, заданном связкой “система — единое тело — высшая цель”, где власть оказывается “распределением доступа к или контроля над средствами достижения целей, какими бы они ни были” [20, p.125]. Структурно единое тело-система, воспроизводящее себя во времени оказывается носителем целей и “высшей (paramount)

цели всей системы, которая должна пониматься на очень высоком уровне абстракции” [17, p.225] — “только он один [Бог] и есть свободная причина” [13, с.606]. С одной стороны, система как *causa sui*, оказывается непостижимой. Но постижение системы как предельного субъекта словно дарует теоретику возможность всеприсутствия. Поэтому с другой стороны, пространство системы как единой вещи оказывается доступной анализу по аналогии с физическим пространством, в котором объекты (функции и подсистемы) задаются по границам взаимной телесной непроницаемости и находятся в состоянии обмена энергией, сообщаемой от одного тела другому. Пространственные образы социальных подсистем и действующих на них факторов разворачиваются перед взглядом теоретика, который словно наблюдает общество с выделенной позиции, не являясь его частью. Пространство наблюдения и описания как власти, так и всех социальных феноменов равнодоступно, прозрачно и единоупорядочено в его видении. Поэтому возможно не только априорное понимание социальной динамики, но и предвидение в ней некоторой “высшей цели”, гарантирующей, в конечном счете, целостность общества.

Власть оказывается в телеологически однородной пространственной схеме функцией множества факторов, независимых (но эмпирически не операционализируемых) “переменных”: “Власть может, для настоящих целей, пониматься как способность общества мобилизовать свои ресурсы в интересах целей ... которые “подчинены публичному интересу”. Количество (amount) власти [в системе] есть атрибут всей системы и функция нескольких переменных. Таковы, как я себе представляю, поддержка, которую могут мобилизовать властвующие, блага, к которым они имеют доступ, ... легитимация, которая может соответствовать позициям обладателей власти и относительно безусловная лояльность населения общества в его политически упорядоченных аспектах” [17, p.224]. Отличие от работ Фуко, где мы также обнаруживаем определение власти как функции, состоит в том, что у последнего

власть представлена как функция множественности точек (но не самих точек) [9, с.196], тогда как у Парсонса — как функция переменных (точек), полагаемых независимыми и исчислимыми, коль скоро не требуется анализа их исчислимости, содержания и взаимосвязи⁴⁷.

Точки, у Фуко постоянно мигрирующие, образующие изменения в социальном теле, у Парсонса оказываются неподвижными, укорененными в самой системной схеме, потому и открытыми внешнему наблюдению⁴⁸. Исходной для такого понимания общества выступает схема доступного обыденному опыту физического пространства. Ее источник восходит к теоретическому горизонту новоевропейской метафизики, что делает неслучайным совпадение исходных посылок теории общества у Парсонса с онтологией Спинозы. Заключенная в построениях Парсонса предпосылка неподвижности пространства наблюдения, невозможности спонтанных изменений в нем, отсылает к метафизическим допущениям,

47 В такой схеме упорядоченности налицо явное смешение “нормативного порядка” и “фактического (статистического) порядка” противопоставление которых Парсонс называет наиболее существенным в объяснении общества [22].

48 Здесь уместно вспомнить качество протяженной субстанции, приведенное предшественником Спинозы Декартом: “... Расположившись однажды определенным образом, частицы сами по себе не меняют больше своего положения” [23]. Неподвижность физического мира является условием его исчислимости. Подобно этому, наблюдаемое Парсонсом общество представляет набор переменных, которые изменяются не “сами по себе”, но в логике иерархии системных целей. Чтобы продолжить структурную аналогию, воспользуемся данным Э.Гуссерлем описанием эпистемологических последствий введения новой схемы видения: “...Благодаря Галилею впервые была сформулирована идея природы как реального, замкнутого физического мира. Вместе с математизацией ... возникло и представление о замкнутой в себе природной каузальности, в которой все события были однозначно и заранее детерминированы. Тем самым был явно подготовлен дуализм, который вскоре и проявился в философии Декарта” [24, с.95].

принятым в акте окончательного овладения природой как неодоушевленной и не полной в себе (профанной) каузальностью. Положенная в отношении общества, подобная профанная каузальность придает всей теоретической схеме следующий предельный смысл: высшей волей в отношении профанных социальных связей выступает сакральная. Восстановив обратным ходом, на основании уже указанных фрагментов, всю последовательность отождествлений, мы приходим к инстанции этой высшей воли: источник развития системы общества обнаруживается в высшей цели самой системы, подсистемой целедостижения выступает политическая сфера⁴⁹, а “органом”, воплощающим всю полноту политической власти — государство. Таким образом, политическим содержанием использования Парсонсом схемы физического пространства в качестве исходной посылки социальной теории оказывается легитимация актуального государственного порядка. При неочевидной связи этих предпосылок, властный интерес подчиняет себе пространственную схему, вовлекая ее в такое построение социального пространства, которое предполагает свойства материи, преобразуемой внешним источником. А сам теоретик, наблюдающий общество извне, этому источнику оказывается тождествен или соприроден. Именно его способность к спонтанному изменению, полагаемая по другую сторону социальной каузальности, приводит к идеализации пространственной схемы и соответствующей ей классификации социального мира, в рамках которой непротиворечивым образом укладываются всякое множество предметностей. Социальное пространство, допущенное такой теорией, сохраняет исходные признаки “чистого” физического, как его характеризует Гуссерль, описывающий Галилееву-Декартову модель природы: “Для нас идеальному пространству принадлежит универсальное, систематическое, единое априори, некая бесконечная и, несмотря на бесконечность, внутренне замкнутая, единая, систематически

49 Мы не останавливались специально на этом тезисе Парсонса в силу его хрестоматийности.

развертываемая теория, которая, будучи построена на базе аксиоматических понятий и положений, позволяет сконструировать любые мыслимые пространственные фигуры с дедуктивной однозначностью” [24, с.65].

Характеризуя такое теоретическое видение общества в целом, мы можем указать, что позиция вне и над социальным миром и одновременное представление общества в его самоидентификационном делении ставят теоретика в двойственное положение в контексте отношений знания и власти. С одной стороны, его взгляд обладает всеприсутствием, и вводимая посредством высшей цели однородность оказывается результатом трансцендентного видения Парсонса, принцип которого очень точно описывает Мамардашвили: “...Во всех точках пространства наблюдения возможен (непрерывный) перенос наблюдения, не нарушаемый ни в одной точке. По отношению к любой из них, в том числе в такой, в какой я сам как наблюдатель не нахожусь, действует возможность рефлексивно в нее переноситься и воспроизводить в ней одно и то же сознание, то есть сделать себя сознательным носителем тех событий, которые в той точке произошли спонтанно и без меня. Я могу их воссоздать, то есть свести их к некоему одному (трансцендентальному) субъекту как автономному и конечному их источнику” [25]. Наблюдаемое пространство, которое вмещает в себя социальный мир, оказывается одной из декартовых субстанций: в отношении общества мыслящий разум теоретика оказывается тождествен системе в целом, наделяемой всеми свойствами субъекта, тогда как от эмпирически наблюдаемого общества рефлексивные свойства в пользу теоретика отчуждаются. Теоретик присваивает себе право представлять общество в целом из позиции его трансцендентного видения и понимания.

С другой стороны, заимствование схем видения и деления социального мира из различных внешних источников, включая здравый смысл, произведенный в рамках политического господства обнаруживает зависимость выделенной позиции и “как если бы” независимых категорий перцепции, воспроизводимых в ней, от структуры господствующих представлений. Легитимацию через внешние инстанции: здравый смысл, вес “великой традиции”, политически признанные интерпретации — а также монопольное распоряжение рефлексивными способностями общества мы можем рассматривать в качестве решающих факторов при производстве схемы пространственной однородности общества. Соответствующую ей позицию теоретика во властных отношениях можно характеризовать как устойчивую в данном символическом порядке и заинтересованную в его стабильности, позволяющей от имени науки сохранять за собой роль жреца.

Заключение

Обобщая результаты исследования пространственных схем социального порядка и соответствующих им властных стратегий, мы можем отметить следующие радикальные отличия между объяснением феномена власти у Парсонса и Фуко.

Определяющим в построении классификации социального мира у Парсонса выступает принцип ее однородности, который получает на различных уровнях форму тождества власти и не-власти. В самом общем виде, текст легитимирует себя через уже легитимные “великие традиции”: наук о природе, политической мысли, политического здравого смысла. Текст Фуко, напротив, построен как система различений, в которых собственный метод принципиально противопоставлен “великим традициям”. Классификация, выстраиваемая в оппозиции к легитимно существующей, обнаруживает в себе разрывы, неоднородности, противоречия при описании социального мира. Эта теоретическая “неполнота” вытекает из

политического интереса такого видения — разрушения самоочевидного тождества действующей единой классификации. Различие в отношении к очевидности легитимных категорий перцепции (зафиксированное нами в оппозиции “жреческое (Парсонс)/пророческое (Фуко)”) является базовым, которое определяет все прочие.

Фуко и Парсонс вводят универсалии объяснения аксиоматически и на высоком уровне абстракции. Но если Парсонс использует эти категории как действующие различия, то есть как имена вещей, имеющих социальную природу, то Фуко — как обозначение пучков отношений, подвергаемых дальнейшей проблематизации и анализу. У Парсонса имя является объяснением, в силу чего всякий элемент социальной классификации может обозначать любое множество фактов; у Фуко имя (элемент легитимной классификации) выступает предметом критики и демистификации. Именно поэтому предельной схемой социального пространства, внеположенного наблюдателю, у Парсонса оказывается однородная протяженная субстанция, тогда как у Фуко, который включает в теорию факт своей вовлеченности в социальные (властные) связи — это множество отношений, повсеместно распределенных, но не однородных по конфигурации, которые и получают обобщенное обозначение власти.

Из факта притягивания/непритягивания субстанциалистской логики объяснения власти вытекает и различие в определении конечных свойств власти. Если у Парсонса власть, отождествляемая, в частности, с государством, социальными институтами, правительством и социальным контролем, оказывается “вещью”, то есть может принадлежать кому-либо, находиться в распоряжении отдельных лиц, инстанций или системы в целом; то у Фуко под властью понимается область множественных и подвижных отношений силы, представляющих дифференцирующим отношением между свойствами социальных локусов, а потому властью оказывается невозможно обладать или распоряжаться. Оппозиция “вещь/отношение” в определении власти

предоставляет место следующему различию.

В работах Парсонса власть определяется на множестве “социальных вещей”, обладающих сходным строением: необходимо присутствуют солидарная общность индивидов, коллективная цель, система как источник контроля и конечный субъект. Власть оказывается в этом случае признаком определенного рода социальных объектов, в предельном случае сводимых к государству, а универсалии “система”, “функция”, “институт” и прочие играют роль средства принудительного сведения очевидностей обыденного опыта в единую непротиворечивую классификацию. Фуко, напротив, избрав исходным уровнем анализа не “социальные вещи”, а “социальные места” — конкретные манифестации отношений власти — в абстрактном понятии власти указывает на ее несводимость к частным формам реализации, определяя ее как отношение, замкнутое на себя. Если Парсонс стремится говорить от лица всего общества, характеризуя его через единую цель и, тем самым, делая систему тождественной его разуму волящей вещью *causa sui*, то Фуко выступает прежде всего как заинтересованный производитель представления о власти, сделавший ставку в игре сил, претендующих на ее определение. Внеся поправку на свой властный интерес в форме знания, Фуко обнаруживает, что ансамбль отношений силы как таковой лишен телеологии, а потому, воспроизводясь автономно, одновременно генерирует и фиксирует “стратегическую ситуацию” в эмпирически наблюдаемом обществе.

Наконец, принципы социально-теоретического объяснения у Парсонса воспроизводят обыденные и политически навязанные критерии видения и деления, которые, с опорой на естественнонаучный терминологический аппарат, составляют основу его теоретической классификации социального мира. Объяснение расположено к очевидности и доступности, а потому пространственная схема социального порядка, в конечном счете, редуцируется к образу физического пространства, прозрачного для обыденного опыта. Фуко, в противоположность этому, в

своем тексте стремится произвести в целом не универсальную классификацию объектов социального мира, но классификацию властных стратегий, посредством которых они представлены. Если для Парсонса теоретическая практика оказывается принципиально внеположенной эмпирически наблюдаемому миру, то построение Фуко именно в возможности самоописания достигает наиболее значительного результата. Пространственная схема, произведенная в разрыве с интуитивно доступными представлениями, теряет простоту, поскольку введение в нее теоретика задает проблему восприятия и полагания самого пространства. В результате проблематизации, пространственная схема приобретает характер топологии: множество локусов наблюдения оказывается в зависимости от положения наблюдателя, а значит, ограничивается по доступности для описания и уже не может быть сведена к одному из мест, объектов или социальному пространству в целом.

Литература

1. Бурдьё П. Социальное и физическое пространства// Бурдьё П. Социология политики /Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1993.
2. Бурдьё П. Социальное пространство и символическая власть// Бурдьё П. Начала /Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1994.
3. Барт Р. Лекция// Р.Барт. Избранные работы /Пер. с фр. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс-Универс, 1994. с. 548.
4. Bourdieu P. Homo Academicus. Cambridge: Polity Press, 1990. pp. xix-xxv.
5. Миллс Ч. Социологическое воображение /Пер. с англ. М.: Стратегия, 1998. сс. 36-63.
6. Бурдьё П. Ориентиры// П.Бурдьё. Начала /Пер. с фр. М.:

Socio-Logos, 1994. сс. 63-65.

7. Бурдьё П. Социальное пространство и генезис “классов”// Бурдьё П. Социология политики /Пер. с фр. М.: Socio-Logos. 1993. с. 60.

8. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика /Пер. с фр. М.: КАМІ-Academia, 1995. с. 19.

9. Фуко М. Воля к знанию// Фуко М. Воля к истине /Пер. с фр. М.: Магистериум-Касталь, 1996.

10. Foucault M. Discipline and punish. London: Penguin Books, 1991.

11. Фуко М. Археология знания /Пер. с фр. Киев: Ника-Центр, 1996.

12. Делез Ж. Фуко /Пер. с фр. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998.

13. Спиноза Б. Этика /Пер. с лат.// Спиноза Б. Об усовершенствовании разума. М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.

14. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию. М.: Наука, 1977. с. 98.

15. Parsons T. Propaganda and Social Control// Parsons T. Essays in Sociological Theory. New York: Free Press, 1954.

16. Parsons T. “Voting” and the Equilibrium of the American Political System// Parsons T. Sociological Theory and Modern Society. New York: Free Press, 1967.

17. Parsons T. On the Concept of Political Power// Parsons T. Sociological Theory and Modern Society. New York: 1967.

18. Хоманс Дж. Возвращение к человеку /Пер. с англ.// Американская социологическая мысль. М.: Издательство Московского университета, 1994. с. 52-53.

19. Parsons T. The Hierarchy of Control// Parsons T. On Institutions and Social Evolution. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

20. Parsons T. Integration and Institutionalization in the Social System// Parsons T. On Institutions and Social Evolution. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

21. Parsons T. Some Reflections on the Place of Force in Social Process// Parsons T. Sociological Theory and Modern Society. New York: 1967.
22. Parsons T. Hobbes and the problem of Order// Parsons T. On Institutions and Social Evolution. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. p. 98.
23. Декарт Р. Мир, или трактат о свете /Пер. с фр.// Декарт Р. Сочинения в 2 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1989. с. 185.
24. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология// Гуссерль Э. Философия как строгая наука /Пер. с нем. Новочеркасск: Сагуна, 1994.
25. Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Лабиринт, 1994. с. 10.

С.В. Дамберг
Конструирующая диада

Там, где находится “святая святых” социологии, где она начинается и где фокусирует свою научную интенцию — там социологии еще и уже нет. Пространство социологического наблюдения и понимания — поле — являет собой не столько пример реальности и предмет дескрипции, сколько начало концепции и, таким образом, одновременно начало и конец этой реальности. Социология заканчивается у входа в поле, за которым оно предстает как реальность вне концепции и вне пунктов исследовательской программы, и социолог входит в него как ремесленник, если у него в руках опросный лист, или как ученик, если он пришел с блокнотом и диктофоном. И прежде чем он доберется до исследовательской лаборатории, ему придется сформировать дескрипцию, не представляя пока, к каким значениям его приведет ее концептуализация, начинающая социологию.

Теоретическое здание стремится победить эклектику описания, подчиняя ее номотетической спекуляции. Не менее спекулятивен и сам социальный субъект, actor, со своей концептуализацией социальной реальности в соответствии с ценностными ориентациями и поведенческими императивами. Иной в этом отношении лишь исследователь, пока он в поле и ангажирован одной только исследовательской (вопрошающей) интенцией и задачей понимания. Поле — место их встречи, место, где, в пространстве образованной ими диады, они формируют социальное знание. И шанс понимания — это шанс поля.

Диадическая организация поля конституирует пространство этого шанса простейшим и наиболее явным образом. Диада “информант — интервьюер”, конструктивная активность, разворачивающаяся внутри нее, и особенно техники взаимного узнавания и понимания достойны специального

внимания, поскольку процедуры исследования, как правило, обходят эти вопросы.

Когда мы знакомимся с текстами интервью, в поле нашего зрения попадают лишь нарративы, посвященные предметной проблематике. Нас интересуют только заранее намеченные феномены, и даже биографические тексты мы прочитываем как проблемно-ориентированные: вне зависимости от вида интервью и самого информанта, социолог всегда проблемно-ориентирован. В результате — парадокс — его исследовательская интенция оставляет за пределами его внимания. Мы не знакомы не только с личностью информанта (это и не страшно: в любом случае, социология пока не в состоянии исследовать ее отдельно, как персону), но и не знаем, как образовалась диада, как они встретились, что сказали друг другу и как поняли сказанное...

Опыт участия в качественных исследованиях для каждого социолога — это опыт видения себя в поле. В ходе интервью всегда довольно наглядно для интервьюера выступают его фигура, увиденная глазами информанта, и, что особенно важно, соотношение двух социальных позиций, так или иначе производимое информантом: позиции интервьюера и самого информанта. Исходя из этого соотношения, информант формирует структуру коммуникации с социологом, и его формирующее воздействие на эту коммуникацию тем более важно, что активная позиция в ней принадлежит именно информанту. Более того, именно он обладает правом принятия решения о своих встречах с социологом, их длительности и, в результате, плодотворности.

Так возникает вопрос о социальном пространстве как универсуме социальных позиций, причем в этом универсуме позиция социолога представляет собой позицию №1. Мы сталкиваемся с ней, когда она имплицитно содержится в позитивистском научном сообщении, и толкование “голых фактов” статистики неявно дополняется тем, что “и так известно” исследователю: самоочевидности, присущие включенности социолога в его профессиональную и обыденную повседневность

и направляющие его анализ, дают нам понять, что мы наблюдаем предмет именно в перспективе этой позиции №1. Мы сталкиваемся с этой позицией и тогда, когда понимаем свою профессию как гофмановский “тотальный институт” и видим себя в тотальности поля. И сам жанр социологической рефлексии, угрожающий пережить социологию, указывает на то, что социальная реальность в научном представлении и в дальнейшем будет начинаться с явного или неявного определения позиции социолога — позиции №1.

В “Картезианских размышлениях” Гуссерля в позиции №1 находится трансцендентальный субъект — результат картезианского сомнения, превращенного в феноменологическую редукцию, которая только и позволяет провести интенциональное исследование во всей чистоте взгляда на полагающую интенцию познающего субъекта. Продолжая рассуждать вблизи этих терминов, можно сформулировать центральный вопрос, конституирующий позицию социолога — эпистемическую и, в конце концов, социальную: какова природа социологической интенции? В самом деле, именно она конституирует позицию социолога такой, какой она а) предстает нам *de facto*, и б) должна быть, если мы в состоянии задать некий императив трансцендентно, поверх своих профессиональных практик.

Помимо этого различия, очевидно, существует и третья модальность полагания позиции социолога — это модальность точки зрения наблюдателя (информанта). Итак, позиция №1а — совокупность позиций, которые так или иначе конструируют сами социологи; позиция №1б — совокупность полаганий позиции социолога, принадлежащих тем, кто полагает ее как отличную от собственной; и позиция №1с — единственная должная позиция, конституируемая императивом истинности искомого знания социальной реальности. Монизм долженствования — пожалуй, самый тяжелый камень, но уклониться от его удара легче всего, и поэтому позицию №1с можно оставить в покое. И мы получили два актуальных множества (№1а и №1б) и одну неопределимую константу (№1с).

Все три варианта позиции задают некую конфигурацию, изменяющуюся во временной перспективе. При этом конфигурация позиции №1 задает представление о специфике всего социального пространства — пространства как совокупности социальных позиций, упорядоченных некоторым образом, и множество таких образов бесконечно. Еще раз подчеркну, что для социолога специфика такого пространства задана конфигурацией его собственной позиции, и прежде чем подойти к пониманию социальной реальности, ему приходится усвоить, что значит быть социологом в контексте конкретного профессионального сообщества.

Позиция — не более чем характер включенности субъекта в социальную реальность, и совокупность таких позиций составляет некоторый (позиционный) континуум — модель того, что само по себе является моделью — представления об обществе в целом, которое существует лишь в форме модели.

Теперь, вернувшись к началу рассуждений, задам вопрос: каким образом и в каком пространстве информант позиционирует интервьюера-социолога (интервью как модель коммуникации взята только для наглядности)?

Концепция общества, конструируемая субъектом, предстает в данном случае наиболее явно, так что можно видеть в ней главное — полифонию статусов, изначально разнокачественных и прямо несопоставимых. В ситуации интервью мы также можем наблюдать, что при прямом соотнесении этих статусов они непонятным образом редуцируются, и эта редукция, всегда разная, оставляет от статуса лишь некий символический ранг. Ясно, что только после такой редукции концепция общества превращается в стратификационную лестницу. Не имея специальных свидетельств, мы ничего не можем сказать о мере осознанности этой концепции, и приходится исходить из того, что она вне рефлексии и может никогда не восприниматься субъектом как некая целостность.

В этом смысле совершенно особый тип социального

субъекта представляют выпускники вузов, преподающих социологию, не ставшие социологами. Здесь мы сталкиваемся со случаем, когда стратификационная концепция общества целиком индоктринирована — а поскольку практически все такие российские вузы ориентированы, в основном, позитивистски, то “каков поп, таков и приход”, пирамидальная статусно-ролевая структура существует в сознании субъекта этого типа как единый артефакт и самоочевидность.

Иной выглядит индивидуальная концепция общества в контексте повседневного знания, и здесь интервьюер сталкивается с двумя взаимосвязанными делениями социального пространства: с границей публичного и частного пространств и непреодолимой дистанцией между пространством “здесь” (полем имманентного) и трансцендированным пространством “там”. Как правило, задача достижения доверительности интервью связывается исключительно с проникновением в частное пространство информанта — но частное поле жизненной ситуации и “посюсторонность” топографически не совпадают. Ясно, что второе гораздо шире первого, поскольку в поле посюстороннего входит все пространство повседневных практик субъекта, тогда как, скажем, в своих профессиональных практиках, скорее всего, он выходит за границу частности. Но здесь интереснее рассмотреть обратный случай: когда социолог трансцендирован в сознании информанта, отстранен за горизонт доступного, вместе с президентом и космонавтом, как обладатель сакрального знания и как “экзистенциально иной”. Пытаясь перейти границу публичности, столкнется ли он с еще большими трудностями, нежели если бы он имел дело с информантом, для которого социолог — это социолог, а космонавт — это космонавт? И как возможно в таком случае понимание полученного нарратива? Поскольку процедуры социологической интерпретации, в основном, не зависят от того, каким информант видит (конструирует) интервьюера, то эти вопросы остаются открытыми. Но можно сказать нечто более определенное о том,

как конструируется сама дистанция — а лучше сказать, пропасть — между пространствами “здесь” и “там”. Если наносить на карту эти пары пространств, существующих для каждой коллективной социальной позиции, мы получим очертания сред или близкие к ним, но, видимо, все же не всех, а только тех из них, которые либо конституированы как маргинальные, либо сами трансцендированы (т.е., в данном случае, категорически вынесены вонне возможного повседневного, или того, что можно помыслить как посюстороннее). Сразу нужно учесть, что дистанция “элита — маргиналы” — случай крайний и мало что проясняющий. Гораздо полезнее разглядеть, как происходит это отнесение за горизонт в наименее “ярких” случаях.

Информант в ситуации интервью — теоретик и преподаватель: в ходе репрезентации себя через свою биографию он разворачивает не просто “Я-концепцию”, а именно новую для интервьюера науку, Я-науку. Ее предмет — он сам, ее метод глубоко специфичен, поскольку это индивидуальная конструктивная активность сознания, ее язык, разумеется, не формализован, однако это специальный язык, т.к. содержание его терминов, конструирующих предмет, индивидуализировано, так что этот язык семантически приближается к аргю. Я-наука приобретает значимость в интересубъективном пространстве благодаря фигуре информанта: его преподавательское ролевое включение в это пространство имеет целью доказать, что предмет его Я-науки — не фикция, и что он — действительно “особый случай”. К сожалению, у социолога пока нет решительно никаких средств поверить этому: социологии индивида не существует, и “особый случай” может представлять только “он и все такие же, как он”. Вся Я-наука информанта распадается после первой же социологической типизации — и не превращается даже в Мы-науку, поскольку после типизации составляется еще и реестр типов, система реестров и т.д., до тех пор, пока Мы-наука не превратится в известную нам социологию. Сам же “особый случай” превращается максимум в case-study, да и оно значимо

лишь в связи с общей теорией (чего не происходит после психологической и психоаналитической типизаций — почему?..). Очевидно, что единственным инструментом такого теоретизирования является т.н. естественная установка обыденного сознания информанта — то есть, в конечном счете, предмет исследования, сведшего вместе социолога и информанта и создавшего то intersubъективное пространство, в котором была развернута эта Я-наука.

Социолог, напротив, в этой ситуации выступает в роли практика. Причем представления о том, что непосредственно находясь в поле, социолог практикует, а не теоретизирует, ориентируют исследователя прежде всего наблюдать. Он должен элиминировать собственные представления о существовании и заменить их свидетельствами, полученными от информанта — теоретизирующего информанта, который вместо строгого и прямого предоставления фактичности поля разворачивает перед исследователем репрезентирующую Я-науку.

Возможности социолога искусственно программировать конструктивную активность сознания информанта связаны с созданием т.н. легенды, вводящей социолога в поле. Присутствует конструирование легенды в явном виде, или нет, в любом случае мы можем говорить о ролевой рефлексии социолога, предшествующей его включению в поле. Содержанием, или, если сказать точнее, материалом этой рефлексии является позиционирование себя в социальном пространстве, конфигурирование набора качественных параметров, которые предстоит предъявить в поле, чтобы добиться необходимой для интервью диады. Кроме того, ролевая рефлексия определяет операциональность социолога в предстоящем поле. “Будьте операциональными, то есть будьте взаимосоразмерными или убирайтесь” [1] — этот императив сформулировал Лиотар, размышляя о требовании современности, и этот императив как нельзя более точно обращен к социологу, входящему в поле. Поле ждет соразмерности индивидуальной социальной позиции исследователя, его личности полю,

конфигурации позиций, составляющих это поле. Нужно быть посюсторонним. В противном случае спекулятивная свобода информанта, конструирующего свою репрезентацию как Я-науку, окажется непредсказуемой, и его нарратив останется сплошным иероглифом. Очевидно, что никакие статусно-ролевые иерархические модели не смогут дать исследователю гарантию этой посюсторонности.

Посюсторонность, равно как и потусторонность, конструируются заранее, прежде очной встречи субъектов, конструирующих дистанцию. Нельзя однако сказать, что для обыденного сознания эти понятия являются конструктами, столь же структурированными, как, скажем, этничность или гендер. Скорее всего, это некие метаконструкты — обобщения представлений особого рода, в общем случае, не производимые самим субъектом. Прежде всего, это представления о недоступности понимания отстраняемого другого, о невозможности для себя его практик, поведения, арго и проч. — то есть речь идет о разрушении очевидностей “(при необходимости) я могу так же”. Гуссерлевская аппрезентация возможна именно благодаря таким очевидностям, тому, что они априорны и позволяют конструировать другого “по аналогии”. Соответственно, здесь мы имеем дело со своего рода негативной аппрезентацией: инакость другого абсолютизирована, и причем на том же самом уровне — на уровне очевидности.

Исследовательская установка социолога исключает для него такую абсолютизацию инакости: каждый попавший в поле исследования потенциально понятен, иначе невозможно само исследование, с чем социолог не способен согласиться “по определению”. Обыденное сознание конструирует абсолютную отстраненность, так или иначе, на основании жизненного опыта и, возможно, некоторых мировоззренческих рефлексий. Рефлексия социолога по этому поводу предопределена. При этом социолог всегда готов к возможности (научного) понимания, которая, в свою очередь, есть конструкт его профессионализма. Этот конструкт — такое же чудо XX века, как самолет: первый

гарантированно преодолевает социальное пространство, второй — физическое. И все же социолог крайне редко покидает поле с ощущением авиакатастрофы: конструкт надежнее самолета.

Понимание должно преодолеть дистанцию диады и ввести социолога в поле уже в качестве инсайдера этого поля, наравне с информантом. В этом смысле и в соответствии с предыдущими рассуждениями можно различить два варианта диады: диада преодолевающая (свою дистанцию, то есть социальную дистанцию между ее участниками) и противоположная, скажем, трансцендирующая.

С одной стороны, определяющая роль принадлежит здесь информанту, поскольку только он способен трансцендировать другого и конструировать социальную потусторонность. С другой стороны, трудно остаться при убеждении, что роль социолога — это все, что в диаде выпадает на его долю: социолог участвует в ней как соавтор творимого социального пространства. Действительно, при возникновении диады возникает особое социальное пространство: оно а) социально изначально, это не тот случай, когда пространство иного рода, скажем, физическое, через осмысление, специфическое смыслонаделение, конвертируется в социальное, — нет, здесь иных пространств не существует и не существовало прежде; б) социальное находит здесь предельную степень конкретности, это социальное этих двоих, причем в момент диады у них нет социального вне ее пределов. Эти двое, социолог и информант, не подготовленные к коммуникации институциональными отношениями⁵⁰ и никак не мотивированные предварительно, “с первого взгляда” начинают строить социологическую диаду (и не важно, что, по крайней мере, один из них об этом сперва не догадывается).

Понятно, что все это касается диады преодолевающей —

50 Профессиональные практики социолога могут миновать поле, и нам известна масса таких практик, так что качественное полевое исследование до сих пор остается редкостью.

но и трансцендирующая диада тоже создает социальное пространство такого рода. “Даже ничего не сообщая, дискурс демонстрирует существование коммуникации; даже отрицая очевидность, он утверждает, что слово конструирует истину; даже имея целью обман, он играет на вере в свидетельство” [2]. Иначе говоря, мы имеем дело с конструирующей диадой.

Конструктивная практика в диаде требует своего рода оборотных средств. Слово, жест, мимическая черта, деталь “обстановки” — речь, поза, мимическая картина, комплекс вещей, составляющих “обстановку” плюс некая “общая атмосфера” — все это имеет целью объективировать единый смысловой ряд. Это ряд смыслов идентичности, идентификационная развертка субъекта, которая имплицитно присутствует в его практиках репрезентации себя в публичности. Вспоминается школьное определение электрического тока: “направленный поток заряженных частиц... и т.д.” — вот он, поток имплицитных смыслов, репрезентирующих значимостей, транслирующих заряд Я субъекта. В коммуникативном русле диады этот поток направлен от информанта к социологу и очерчивает приватное пространство первого, задавая таким образом канон, соответствуя которому социолог может пересечь границу приватности. Получается, что субъект сам указывает способ пересечения этой границы, всегда и неизбежно демонстрируя индивидуальный канон приватности, по которому он узнает (различает) “своего” и другой может узнать его самого.

Один из наименее ясных вопросов в этой области — вопрос эпистемических техник репрезентации себя и понимания и определения другого, техник, которые я назвал бы эгоспекуляцией, имея в виду, что за этим собирательным термином скрываются многообразные механизмы интерпретации, концептуализации и проч. личности, как собственной, так и другого.

В чем для обыденного сознания заключена специфика понимания, когда оно сталкивается с таким предметом, как личность? Можно наметить некоторые пункты — и оставить

тему открытой. Начну с классического для социологии — роли. Парсонс, чьи дефиниции наиболее популярны, но иногда пригодны к употреблению, утверждает следующее: “Роль есть тот организованный сектор ориентации действующего, который предназначает и определяет его участие в процессе взаимодействия” [3]. Для нашего рассмотрения это означает, что в ролевом характере участия мы наблюдаем интенцию, выделяющую (посредством мотивационных механизмов) предмет и фокусирующую социальное бытие субъекта. Бытие в социальном — экстернализация, в ходе которой субъект “превращается в реальность”, становится “своим” и определяет себя как партнера/контрагента/другого для других. Я как другой для другого в диаде и есть предмет моей репрезентации и подтекст моего участия — не ролевого, а целостно личностного. Роль субъекта — “информант” — не может, разумеется, исчерпывающе характеризовать его включенность в диаду и адекватно описывать специфику его личностных инвестиций в диадическое пространство. Это тем более невозможно, что о какой-либо ролевой рефлексии здесь вообще вряд ли приходится говорить. Формальность ролевого участия “очищает” субъекта от ролевых окрасок и репрезентирует его безо всяких навязанных декораций (прежде всего, конечно, институциональных), заставляя конструировать их самостоятельно.

Именно в таком “внеролевом” участии и можно наблюдать феномены эгоспекуляции — конструирующие умозрения, имеющие два непереносимых условия: скорейшее понимание любой ценой и то, что Гуссерль назвал аппрезентацией.

Личность как предмет понимающей активности обыденного сознания специфична своей особой не-явленностью. При безусловном, онтологическом, по Хайдеггеру, императиве понимания, здесь невозможно прямое понятийное членение целостности личности на незримые, не предъявленные очевидности, такие как темперамент, характер, добродетельность (“хороший — плохой”) и проч., — словом, на те атрибуты,

которые обыденное сознание стремится угадать в другом как можно скорее, сразу и интуитивно. Граница понятия совпадает с границей денотата: понятия о вещах различаются там, где сами эти вещи отделяются друг от друга. Личность, не позволяя такое различение своих имманентов, делает недоступным физикалистское обоснование понятий, свойственное обыденному сознанию, что открывает невиданный простор для эгоспекуляций. Эгоспекуляция — то есть спекулятивный поиск эго, единственного эго, которое нам дано — своего, причем в этом поиске оно же выступает и в качестве материала. Узнавание — различение узнаваемого — ищет знакомое а priori, ищет себя. С позиций рационализма, информант, как всякий субъект в ситуации первого знакомства с другим, действует в условиях крайнего дефицита информации, так что никаких выводов он делать не должен. Но понимание, не снабженное какой-либо специальной рефлексией, механизмом контроля процедуры, скажем, научного, то есть понимание (равно как и познание) обыденного сознания — это постоянное получение результатов, одного за другим. Несмотря на то, что эти результаты не фиксируются неким списком достигнутого, в каждый момент времени они могут быть предъявлены “на лицо”. Иначе говоря, такое понимание — не выращивание дерева, а постоянное срывание яблок с него, а процедура выращивания заменяется ощущением очевидности. Так что вместо первичного дефицита информации мы можем наблюдать неустанную работу механизмов конструирования — конструктивную, а не вопрошающую активность сознания. Именно поэтому стремление к аппрезентации как аналогизирующему конструированию необходимо и конститутивно.

Техники эгоспекуляции, которые можно (и удавалось) наблюдать в ситуации социологической диады, многообразны, а их внутренняя логика бывает чрезвычайно сложна и, разумеется, требует отдельного и подробного исследования. Для наглядности приведу лишь краткий эскиз. Начну с ассоциации исследователя с рекоммендателем (если таковой имеется), поскольку это тот

редкий пример, когда аппрезентация усложняется переносом Я на “своего”, чью рекомендацию предъявляет интервьюер. Здесь конструируемая аналогия соединяет рекомендующего и рекомендовавшего; интервьюер зарабатывает первый символический капитал в диаде, и этот капитал сразу же конвертируется в ту особую социальную мобильность, которая состоит в возможности перемещения через границу приватности/публичности.

Однако большинство техник эгоспекуляции связаны с редуцирующим поиском и накоплением “общего”, то есть почвы для прямой аппрезентации. В этом плане в дискурсе субъекта можно выделить несколько т.н. рассказов, то есть предметных дискурсивных концепций, организующих речь субъекта всякий раз, когда перед ним встает задача репрезентации. Один из таких рассказов — рассказ об учителе. Его задача — выяснить (продемонстрировать) источник опыта, жизненного или специального (профессионального и проч.), и компетенции. Рассказ о детстве и событиях социализации позиционирует субъекта, артикулируя его милье, среды социализации, событийный контекст жизненного мира. Рассказ о привычках, хобби и “шизоидных странностях” очерчивает саму индивидуальность. Этот прием можно охарактеризовать как редуцирующую локализацию индивидуальности субъекта: здесь он уникален, возможно, даже маргинален — но эту маргинальность легко “простить”, в остальном же он такой же, как и все — то есть, конечно, все “свои”. Совпадение, подобие рассказов участников диады в коммуникации имеет сигнальную функцию “я свой”, причем эти подобия всегда чутко улавливаются и абсолютизируются — либо, если приватизация (включение другого в приватное пространство) недопустима, игнорируются.

Иными словами, в техниках узнавания и понимания другого стандартизирующее отнесение к типу в чистом виде отсутствует, вопреки многим сложившимся социологическим представлениям. Об отнесении к типу позволяет говорить лишь

грубое упрощение техник приватизации, в которых действительно присутствует поиск стандарта, но этот стандарт — конструкт индивида либо конкретного сообщества, и понимание этого стандарта дает исследование милье, а не “слоев населения”. Нет оснований абсолютизировать его объективации, превращая его в белый халат, по которому мы узнаем врача: врач может оказаться поваром.

Итак, техники приватизации (эгоспекуляция) со стороны субъекта обыденного сознания — это и есть распознающие и позиционирующие техники информанта. Со стороны социолога мы имеем процедуры исследовательской типизации на основании тематизации социального пространства, которая определяется целью исследования и очерчивает поле, — видимо, это соображение не требует каких-нибудь пояснений. Вместе же оба этих механизма образуют процесс взаимного позиционирования, организующий диаду. Возвращаясь к вопросу социальной позиции, можно теперь сказать, что на этот процесс, кроме уже описанных феноменов концептуализации микроуровня, влияет и концептуализация макроуровня, то есть концепции общества участников диады. Концепция общества социолога, по-видимому, опять может остаться без комментариев, поскольку это вопрос его профессиональной компетенции и убеждения.

Для информанта же существует два полярных варианта, балансируя между которыми, он конструирует свое “общество”, или свой континуум социальных позиций. Полярные модели можно характеризовать как “тематизированная стратификация” и “эклетика сред”. Первую модель вполне можно назвать моделью обыденного позитивизма: после придания ей строгости, приличествующей всякой науке, эта модель превратится в “сухой остаток” парадигмы классического позитивизма. Вторая же модель встречается несравнимо реже и представляет собой продукт постмодернистского сознания, во всем его многообразии. Соответственно различается и многообразие возможных конфигураций этих типов моделей: первая в основном неизменна, и от индивида к индивиду, от группы к

группе сохраняет пирамидальную форму, имущественный критерий стратификации, схожие с паретовскими представления об элите (главным образом, на западе) и т.д. Конфигурации второй модели целиком зависят от того, как позиционирован моделирующий субъект, и потому могут быть столь не схожи, что объединять их под одним условным термином можно только в противоположность первому типу моделирования социального пространства.

Различие возможных диад в зависимости от модели социального пространства информанта на преодолевающие и трансцендирующие (см. выше) ложится поперек такого различия типов моделей. Ясно, что оба типа позволяют субъекту конструировать трансцендентное сообщество. Однако в технике такого конструирования эти типы имеют существенные различия.

В первом случае трансцендирование проходит вертикально, и практически совпадает с имущественной поляризацией населения страны, возможно, лишь за некоторыми исключениями. Кроме того, разумеется, в “потустороннее сообщество” здесь попадают обладатели наибольших символических капиталов, то есть те, чьи имена “у всех на слуху” и чьи позиции в пространстве публичного дискурса явно элитарны. Соответственно, собственная позиция субъекта конструируется как “принадлежность к низшему/высшему слою” и т.д. — в точности эти формулировки мы встречаем во всех опросных листах и хорошо знакомы с утверждениями, будто такие “формулы” идентичности “объективны” и проч.

Иначе конструируется социальная позиция во втором случае: здесь уже равно, если не более возможно вертикальное трансцендирование, и позиция субъекта строится как маргинальная — либо, наоборот, в маргиналы зачисляется трансцендируемый объект.

В заключении предложу осторожное заимствование из психоанализа: если сказал “диада”, говори “перенос”. Даже в проделанных здесь рассуждениях просматривается важнейшая

близость социологического и психоаналитического исследований — и она тем более важна и симптоматична, что объединяющим звеном здесь становится не столько предмет (что могло бы быть случайной частностью), сколько сам метод. Логично предположить, что близкие, и даже родственные исследовательские практики порождают в поле и весьма схожие, во многом гомогенные феномены.

На перенос в социологическом диадическом исследовании указывает персонификация типа, интериоризованного субъектом как термин идентичности — то есть сама апперцепция суть перенос, вариант переноса (особенно при столь расширенном современном толковании переноса). Видимо, тот уровень реальности, который конструируется информантом в социологической диаде, превращает перенос из превращения в конкретного “своего” (родственника, любовника... — значимого другого) в превращение в “своего” вообще. Такая приватизация другого плюс аналогизирующее понимание другого как себя, безусловно, активизируют одни и те же механизмы сознания (разумеется, в отличие от психоаналитиков, мы не имеем никакого повода рассуждать о бессознательном).

Тем же образом необходим и контрперенос. К сожалению, этот термин в лексической практике психологов еще более размыт. И тем не менее, в социологической практике мы сталкиваемся со своего рода опережающим контрпереносом: легенда, с которой социолог входит в поле, имеет целью повлиять на информанта посредством программирования его переноса, причем еще до того, как этот перенос будет иметь место. Но и в тех случаях, когда легенда как таковая не используется, присутствует феномен контрпереноса. В ситуации массового опроса мы сталкиваемся с деперсонифицированным контрпереносом: смысл и порядок предлагаемых вопросов программируют респондента. Критической литературы по этому поводу множество, но, к сожалению, техники такого программирования практически не исследованы.

В идее контрпереноса для социолога открывается возможность имитировать символический капитал — или хотя бы эксплицировать его, что позволяет рефлексии и контроль воздействия этого капитала. Может ли социолог овладеть контрпереносом, то есть контролировать его и управлять им? В отличие от психоаналитической диады, социологическая отводит ученому роль недействующего, замороженного участия. Социология традиционно постулирует недопустимость какого-либо контрпереноса. Но, как выясняется, контрперенос в социологической диаде состоит уже в самом присутствии социолога, в факте и содержании артикуляции его присутствия, включенности в поле и участия в диаде и в практиках наблюдаемого сообщества.

От репрезентации исследователем себя в публичности поля и до включения в приватность поля (и заключения с информантом “договора о неразглашении” и прочих атрибутов приватности) исследователь отвечает на приватизирующее обращение информанта. Смысл приватизирующего обращения — либо стань своим, либо уходи (ни с чем); его содержание — в “привыкании” к исследователю, включении его в приватное пространство. Это обращение содержится в смысловых структурах коммуникации с первой же встречи и достигает цели в построении диады.

Конструктивная активность сознания использует манипуляцию пространственными социальными категориями весьма и весьма широко. Диадическая исследовательская практика демонстрирует, как эти категории используются в техниках репрезентации себя в публичности и приватизирующего понимания другого. Социологическая диада, в свою очередь, являет собой пример — и притом, по-видимому, один из наиболее чистых примеров — возникновения социального пространства в ходе манипуляции пространственными категориями. И все-таки после проделанных рассуждений вопросов остается больше, чем ответов. Вероятно, потому что и сама социология — не более чем возможность социального

исследования, и превращение в классическое здание науки ей только вредит. К тому же, времена таких зданий уходят, и перед нами открываются возможности иных профессиональных практик: что, например, нам известно о социальной терапии?

Литература

- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. /Пер. с фр. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя. 1998. с.11.
1. 2. Лакан Ж. Функция речи и поле языка в психоанализе. /Пер. с фр. М.: Гнозис, 1995. с. 22.
 2. Towards a general theory of action / eds Parsons T., Shils E.A. N.Y., 1962. p.23.

Исследования

Е.Ю. Кольцова

Разорванная коммуникация: прагматическая концепция языка и профессиональные практики журналистов

Одной из наиболее значимых проблем в теории массовой коммуникации (МК) традиционно является противостояние двух подходов, к которым, как к двум полюсам, так или иначе притягивается большинство исследований: (1) репрезентативная теория средств массовой коммуникации (СМК), функцией которых считается объективное отражение реальности, а “искажения” реальности (bias) расцениваются как подлежащая исправлению девиация; (2) конструктивистская социология знания, теряющая связь “сети значений” с внешним миром⁵¹. Причина этой биполярной структуры исследований МК в том, что они долгое время были слабо восприимчивы к общему развитию социальной теории, а также в том, что в МК обычно видели производную от непосредственной коммуникации, несмотря на получившую общее признание формулу Маршалла МакЛюэна: “The medium is the message” (канал есть сообщение) [1].

Между тем, эффективным средством для разрешения сложившегося противоречия могла бы стать аналитическая философия языка, продуктивность применения которой я попытаюсь продемонстрировать в этой статье.

Основы аналитической философии языка, как известно, были заложены Людвигом Витгенштейном [2]; позже она была развита Джоном Остином [3] и Джоном Серлем [4] и с некоторыми модификациями применена к социальному теоретизированию Юргеном Хабермасом [5]. Концепции этих авторов базируются на прагматическом понимании высказывания в языке как действия, которое имеет цели и средства и связано с

⁵¹ Обсуждение философской сущности таких понятий как “внешний мир”, “реальность” и “действительность” выходит за рамки этой работы. Здесь я предлагаю условно остановиться на том, что реальность есть и, хотя она подвержена социальному конструированию и переделке, она дает себя знать в моменты *сопротивления* нашим конструктивистским попыткам.

другими действиями связями, не полностью определяемыми “смыслом” отдельных речевых компонентов. С одной стороны, такое инструментальное понимание расширяет спектр функций речевой деятельности, выводя ее из узкой роли “отражения реальности”. С другой, понятие конструирования реальности в рамках такой концепции может быть понято иначе, чем создание ее виртуального дубликата, теряющего связь с миром: а именно, как детерминированное целью препарирование, расчленение целостной действительности на смысловые “кубики” и дальнейшая их перетасовка и применение.

В исследованиях МК идеи Витгенштейна-Остина-Серля скорее предлагаются для применения к СМК, чем используются, (например, у К. Дженсена [6]), либо выступают в качестве вторичных, вспомогательных источников, как у Клауса Криппендорфа [7], либо присутствуют имплицитно. Представители дискурсивного анализа СМК, такие как Тойн ван Дейк [8], используют сходные концепции, однако в центре их внимания — анализ текстов скорее в лингвистических, нежели в социологических терминах. Что касается Хабермаса, теоретики масс медиа активнее обсуждают его понятие буржуазной публичной сферы, нежели более позднюю теорию коммуникативного действия.

1. Массовая коммуникация как набор действий

В этой работе нет места подробно останавливаться на анализе теорий речевого и коммуникативного действия, поэтому ограничусь перечислением того, что я у них заимствую для своих целей: (1) высказывание в процессе коммуникации является действием; (2) действие конституируется правилами; (3) правила социальны и узнаваемы воспринимающей стороной; (4) они вытекают из интенций, или коммуникативных задач речевого акта; (5) в действии выдвигаются претензии на валидность/законность этого действия, то есть на выполнение и обоснованность заявленных задач; (6) задачи разнообразны и не сводятся к “отражению реальности” (примеры других задач: вопрос, приказ, шутка, приветствие); (7) средства выполнения задач и обоснованность самих задач могут быть оспорены

воспринимающей стороной, т.е. действия могут быть расценены как неправильно выполненные, а декларируемые задачи — как неуместные.

Модификации, которые я вношу в заимствованные концепции, направлены на то, чтобы адаптировать эти концепции к массовой опосредованной коммуникации, рассмотрение которой не входило в задачи представителей аналитической философии. Эти авторы сознательно ограничивают предмет своего анализа устной коммуникацией лицом к лицу и на уровне одиночных высказываний (кроме Хабермаса, уделившего внимание СМК⁵²). И Остин, и Серль, и Хабермас исключают из рассмотрения небуквальное использование языка (типа шуток или игры в театре), перлокутивную⁵³ составляющую действия, и стратегическое действие, основанное на обмане или принуждении; по Хабермасу, коммуникативное действие — лишь то, которое направлено на достижение понимания [5, р.289, 295].

Хотя такое определение коммуникативного действия может быть вполне адекватно целям аналитической философии и Хабермаса, мои задачи требуют расширения этого понятия и включения в него всех отвергнутых аспектов: в МК они являются одним из конститутивных элементов, в противном случае почти всю МК следовало бы признать девиантной (я проиллюстрирую это ниже). В МК язык (и другие знаковые системы) так же приспособлен для шуток, обмана и приведения в недоумение, как для достижения понимания и отражения событий. Сколь в языке заложена коммуникативная рациональность⁵⁴, столь же присущи ей и необоснованные претензии, равно как и (рационально)

52 Но и о Хабермесе Томпсон пишет: “Хабермас не интересовался прессой как таковой (...). Его способ мысли о печати строился по модели устной коммуникации” [8, р.131].

53 То есть направленную на производство последствий в мире действий, внешних по отношению к миру речи.

54 Коммуникативная рациональность (термин Хабермаса) — возможность достижения согласования участниками коммуникации по поводу обоснованности и выполнения заявленных претензий на валидность коммуникативного действия. К.р. имеет место, лишь когда согласование основывается исключительно на рациональных аргументах (а не на принуждении или обмане).

необоснованное подчинение им или их отвержение.

Отсюда, коммуникативное действие я считаю уместным операционализировать следующим образом. Для меня коммуникация — это обмен осмысленными знаками с какой-либо целью (достижение понимания, обман, принуждение и др.) Участие в таком обмене может быть названо коммуникативным действием; или действием знаковым, если акцентировать средство, а не цель коммуникации. Речевое действие является частным случаем знакового.

Итак, опосредованная массовая коммуникация отличается от интеракции лицом к лицу следующим образом.

1. МК, помимо чисто речевой деятельности, — это коммуникация при помощи других знаковых систем.

2. МК включает небуквальные и стратегические (манипулятивные) использования знаковых систем. Поскольку манипулятивные интенции стигматизированы, они скрыты. Так как они не могут претендовать на законность сами, они порождают действия, маскирующиеся под акты с легитимными задачами.

3. МК разорвана: знаковое действие в ней исполняется в одном контексте, а воспринимается в другом. Скрытость производства высказываний от аудитории, а восприятия — от журналистов⁵⁵ дает возможность обеим сторонам использовать СМК неожиданным друг для друга образом. Разорванность массовой коммуникации, кроме того, создает зазор между тем, как стороны определяют друг друга и тем, кем они являются на самом деле (не в смысле идентичности, а в буквальном смысле). Все это настолько отличает опосредованную коммуникацию от интеракции лицом к лицу, что ее можно считать смежным понятием: Томпсон не случайно называет ее “квази-интеракцией” [9, р.84-85].

4. Из этого следует, что МК лишается того элемента, который Хабермас считал центральным — возможности достижения понимания и согласия через рациональное согласование. Поэтому претензии на законность могут быть

⁵⁵ Под журналистами понимаются все сотрудники СМК, не зависимо от формы занятости, связанные с производством смыслов.

приняты либо отвергнуты аудиторией только односторонне.

5. Опосредованная массовая коммуникация отличается от непосредственной отсутствием спонтанности, знаковое действие подготовлено в ней заранее. Поэтому оно распадается, по крайней мере, на две части: процесс подготовки, мало зависимый от воспринимающей стороны, и сам продукт, который после выхода в свет начинает жить своей жизнью, мало зависимой уже от его создателей.

6. Высказыванием в масс медиа является не одиночное предложение, а целостное произведение.

7. Манифестируемые интенции оформляются в систему узнаваемых правил совершения знакового действия, на основании которых аудитория его понимает. Системы этих правил конституируют устойчивые типы знаковых действий в СМК, а правила, по которым аудитория может их узнавать, лежат не исключительно в сфере языковых средств, но также в сфере социального контекста или фонового знания. Поэтому, если называть такие наборы правил жанрами, следует понимать их шире, чем знаковые явления; с точки зрения узнающей аудитории я бы даже назвала их фреймами.

8. Создание продукта масс медиа состоит из множественных интеракций различных акторов, поэтому в СМК появляется сложная иерархия речевых действий (программа новостей — репортаж в программе — цитата в репортаже), смысл которых также зависит от того, в какое именно более крупное действие они вложены. Опыт подобной классификации проводит по отношению к художественной литературе Бахтин [10].

Таким образом, МК — это набор взаимосвязанных знаковых действий, каждое из которых имеет своего субъекта (пусть коллективного) и свой “пакет претензий” и интенций. Совокупность произведений СМК не является прямым отражением реальности, хотя при этом в каждом конкретном случае претензии на объективное (правдивое) отражение могут выполняться. Сама МК включает ряд этапов:

– создание продукта в пространстве, недоступном для воспринимающей стороны (Гоффман назвал бы его “back region”);

– исполнение знакового действия в случае радио или телевидения, или текст в случае печатных СМК (“front region”, публичное пространство, зона коммуникации);

– восприятие/потребление в пространстве, не доступном для производителей;

– отложенную обратную связь, выраженную в трех основных формах: выборе СМК потребителем, его письмах и звонках, и маркетинговых исследованиях аудитории;

– разные виды вторичной коммуникации (представителей СМК между собой, представителей аудитории между собой, между СМК аудиторией с учетом всех других видов).

В этой статье я намерена проанализировать только первый этап, лишь отчасти касаясь второго и третьего. Это обусловлено, во-первых, объемом, а во-вторых, тем материалом, которым я располагаю: до сих пор я занималась изучением создания медиа-произведений. Источники моего материала распадаются на две большие группы.

1. Два социологических исследования методом участвующего наблюдения: в редакции ежедневной газеты (январь-июль 1997) и в Петербургском корпункте одной из Московских телекомпаний (январь-февраль 1999). Наблюдение представляет собой присутствие в редакции / на студии при разных видах работ, выезды на задания с корреспондентами, выборочный анализ произведений, неформальные беседы, иногда — выполнение журналистской работы.

2. Другая медиа-продукция, особенно произведения журналистов о самих себе, систематически отслеживаемые, а также мой личный опыт работы журналистом, предшествовавший моей социологической деятельности. Так как эти источники постоянно подтверждали и подтверждают данные наблюдения, я позволила себе почерпнуть из них часть примеров для этой работы.

Хочу подчеркнуть: чем я не занимаюсь в данном акте научной коммуникации, так это выдвижением претензий на статистическую репрезентативность данных. Моя коммуникативная задача — показать плодотворность использования прагматического подхода к языку в исследованиях

МК. Я надеюсь, из дальнейшего текста будет видно, как теоретическая схема, основанная на этом подходе, легко ложится на материал исследований, а примеры “со стороны”, не менее органично укладываются в схему. Если у кого-то, кто располагает недоступными мне данными, возникнет желание уточнить границы применимости этой схемы или чем-то ее дополнить, мою текущую задачу можно будет считать выполненной.

2. Открытые коммуникативные задачи

Этап производства медиа-продукции представляет собой ряд практик работы журналистов — то есть действий, совершаемых по набору правил (регулярностей). Правила вытекают из задач, и именно по ним я намерена классифицировать и описать увиденные практики.

Открытые, декларируемые коммуникативные задачи опираются на представления журналистов о потребностях аудитории, ее интересах и способности осваивать те или иные информационные продукты. Однако рядовые журналисты почти не имеют непосредственных выходов на свою аудиторию. Постоянные и широкомасштабные исследования очень дороги и потому касаются в основном центрального телевидения; в других случаях они весьма фрагментарны, а в газете, которую наблюдаю я, они не проводились вообще. Письма в редакцию дают некоторое представление об аудитории, но по способности сопротивляться конструированию оно не идет в сравнение с тем, которое может дать коммуникация лицом к лицу. Поэтому каждый журналист имеет перед глазами свой образ адресата, созданный исходя из обрывочных сведений, своих желаний и интересов. По выражению информанта А., *“Читатель — это миф, который придумывает себе журналист. Но плохо, если этого мифа нет: тогда журналисты начинают писать друг для друга”*.

Избежать “письма друг для друга” невозможно в любом случае. Так как адресат всегда недоопределен, журналисты в своей деятельности в большей степени ориентируются на стандарты и нормы профессионализма, признанные в их среде.

Сразу скажу, что в России единый набор таких стандартов трудно бывает найти даже в рамках одного издания, где сталкиваются, по крайней мере, три поколения журналистов: прошедшие партийную закалку советские кадры, перестроечные правдоискатели и прагматики пост-советской эпохи. Тем не менее, несмотря на постоянные изменения и разнородность практик, когда *“каждый делает свою газету”* [информант Б.], некоторые типы выделить можно.

В любом случае, все действия легитимируются отсылкой к потребностям аудитории. Адресат — это ресурс, который привлекается в дискуссии для отстаивания своих интересов. Так как он всегда отчасти не определен, его можно модифицировать в зависимости от ситуации. В исследованной газете каждый начальник отдела доказывал, что именно его тематика и/или формат больше других необходимы читателю; редактор же принимал то одну позицию, то другую, в зависимости от авторитета говорящего и убедительности аргументов. Информант В., чтобы оправдать большое количество криминала в теленовостях, даже сослался на Маслоу и его теорию иерархии потребностей, из которых сначала удовлетворяются первичные, а затем — вторичные. Поскольку, по Маслоу-В., безопасность — самая главная потребность человека, зрителей, прежде всего, волнуют криминал и катастрофы. Следовательно, заключил В., *“мы не можем это игнорировать”*.

Легитимирующая сила категории адресата велика потому, что законной и одобряемой считается задача продать журналистское произведение, которое осознается, в первую очередь, как товар. Эта задача открыта: она не скрывается от аудитории. О ней можно узнать хотя бы из того, что СМК рекламируют собственную продукцию в ряду других товаров. Из такого отношения вытекает следующая, двойная задача: с одной стороны, подстроиться под предполагаемые потребности адресата, а с другой — навязать ему свою продукцию, создав новые потребности. Это тоже не секрет для аудитории, которая может это иметь в виду, хотя для этого требуется определенный опыт общения с СМК как с товаропроизводителем. Я предполагаю, что в России, учитывая долгий период существования СМК вне коммерции, такой опыт более

ограничен, чем в странах с давней рыночной экономикой (но это предположение требует дополнительного исследования).

Экономические интенции присутствуют во всех типах коммуникативных действий журналистов как открытая, но фоновая задача. Средством ее достижения является изготовление качественного продукта, а конкретное его выполнение зависит от других задач. Таких задач, исходя из наблюдений, я выделила три: “информирование”, “артикуляция независимого мнения” и “развлечение”. Я различаю их в основном аналитически, потому что в конкретных действиях журналистов они часто не разделены. Кроме того, это не исчерпывающий список, но, я надеюсь, все наиболее значимые открытые задачи в него попали. Я основываю свои надежды на том, что в структурно-функционалистской литературе по масс медиа [11] именно эти три задачи, несколько по-иному сформулированные, чаще всего возглавляют списки функций СМК. Хотя структурные функционалисты рассуждают в тех категориях, которые я старательно избегаю (функции/дисфункции⁵⁶), после определенной операции “пересчета” из одной парадигмы в другую между ними обнаруживаются соответствия, которые и указывают на точки сопротивления эмпирического материала произволу исследователей.

2.1. Информирование и репортажный способ работы.

Коммуникативной задаче “информирования” с претензиями на истинность чаще всего соответствует жанр новостей и репортажный способ работы. Это то, что мой информант Г. презрительно назвал “*партийно-записывающей ручкой*”. Он приводил хрестоматийный пример такого метода: журналист приходит к директору магазина и спрашивает, какие товары они продают, вместо того, чтобы посмотреть на прилавки. “*Начальники определяют общественное мнение*”, — говорил Г., имея в виду, что таким образом содержание газеты создается не журналистами, а внешними источниками. Действительно, Д.,

⁵⁶ Содержание этого структурного понятия я разношу по нескольким “акционистским” категориям: открытые задачи журналистов, скрытые, и “использования” СМК аудиторией (незапланированные эффекты)

ведущий корреспондент отдела информации газеты подтвердил, что его источники — в основном руководители — так же, как в советские времена, когда информация была исключительно “положительной” (отсюда клеймо “партийная” ручка). Состав источников соответствовал типу выдаваемой информации: большая часть материалов была посвящена организованным мероприятиям, приезду в город значимых людей и инцидентам. То же самое наблюдалось и в теленовостях: источниками были, как правило, пресс-службы и представители различных ведомств (особенно городской администрации, ГУВД и МЧС). Однажды какой-то начальник сказал Д. по телефону, что ремонт на Большой Морской будет завершен к 12-му числу. “А если не будет?” — спросила я. Д. объяснил, что, конечно, не будет, но слова соответствующего должностного лица сами являются информацией. Из 250 проанализированных мною телесюжетов (июль 1998 - январь 1999) почти 15% приходится на заявления и визиты статусных фигур.

Если журналисты-расследователи, типа Г., пытались монополизировать право на определение содержания издания, то репортеры, наоборот, не считали зазорным перекладывание ответственности за претензии на правдивость на своих источников. Если Большую Морскую не отремонтировали к 12-му числу — соврала не газета, а соответствующее ведомство. К тому же, технические условия, в особенности требования оперативности, не оставляют репортерам другого выбора. Более того, все репортеры стремятся создать постоянную сеть источников для бесперебойной поставки информации, таким образом неизбежно ограничивая набор каналов и отсеивая неканализованную информацию. Это можно было бы назвать искажением, но как помыслить неискаженную картину? Как газету, на 95% состоящую из рутинных событий? Новость — это не всякая информация, а выборочная, это изменение на общем фоне, значимое отклонение от него.

Таким образом, те, кто видят своей главной задачей информировать читателя, не претендуют на создание объективной картины, отражающей реальность в целом. Они претендуют на истинность блоков информации в рамках каждого конкретного произведения, а иногда даже не на истинность, а на

точность воспроизведения источника. Однажды я спросила телерепортера В., не противоречит ли фактическая сторона сюжета об отключении воды в Ивангороде его драматургической стороне (которая есть средство выполнения коммерческой задачи продажи товара). Он ответил: *“Бабушек, которые там с этим бидончиком [ходят за водой на пруд] — я же их не выдумываю, я их нахожу. Эстонского злобного водопроводчика, который отключает воду, я же его не выдумываю, вот он на самом деле так и есть. То есть если бы я сам там переоделся в эстонского злобного водопроводчика и перекрывал — вот это да, это идет... это называется вторжение в структуру репортажа”*.

Суммируя сказанное, новости как коммуникативное действие — это, в основном, выборочное “цитирование” или других производителей смыслов, опосредующих реальность для журналистов, и реже — цитирование самой “реальности”. При этом связи между цитатами не только не “воспроизводят” связи в реальности, но и намеренно подавляются журналистами.

2.2. Артикуляция независимого мнения и расследовательский способ работы.

Расследовательский способ — во многом антипод репортерскому. Он включает: (1) почти профессиональное освоение темы с целью достижения независимости от источников; (2) сбор компромата и использование конкурирующих источников. Как сказал журналист-расследователь Е., *“Мы играем на стороне той или иной группировки чиновников, наша задача только сделать правильный выбор. (...) Мы действительно четвертая власть”*. Не удивительно, что расследовательский журнализм концентрируется вокруг политико-экономико-криминальной темы; именно такие послания направлены во власть и в элиты.

Хочу оговориться: только часть журналистов-расследователей имеет непосредственно перлокутивные цели — желание повлиять на принятие решений властями или задачу формирования общественного мнения. Другая часть ограничивается артикуляцией своего мнения; но что объединяет всех — это (1) претензии на независимость, непредвзятость и “экспертность” такого мнения; (2) определение жанра все-таки

как “мнение”, “анализ”, “комментарий” и противопоставление его “информации”. Это связано с тем, что расследователи в своих материалах более открыто апеллируют к ценностям, к категориям “хорошо-плохо”. В центре любого расследования стоит “проблема” — то есть то, что осознается журналистом как общественно значимая девиация, которую следует исправить. Поэтому претензии на непредвзятость мнения оказываются шаткими и часто оспариваются внутри самого журналистского сообщества. Я не раз наблюдала споры о том, что считать “проблемой”, а что нет, и как ее освещать. Вот, например, отрывок из полевого дневника:

“Главный редактор: Материал о наркотиках — это пособие по их использованию. Надо переделать. Это “Московский комсомолец” мог бы так сделать, а нашей газете такое претит. Надо комментарий дать, но хоронить не надо.

Нач. отд. инф.: Его будничность и детали как раз и потрясают”.

Девиация предполагает, что источники будут скрывать информацию, относящуюся к ней, или конструировать реальность выгодным для них образом. Отсюда и возникает собственно расследовательский способ работы, борьба журналистов с источниками за определение ситуации, за контроль над интерпретацией информации. Наиболее успешные расследователи, насколько я могла наблюдать, тянут в свою работу методы внешней разведки, контрразведки и уголовного розыска. Начинаящим журналистам-расследователям рекомендуется: собирать свой архив и досье, тщательно сопоставлять общедоступные источники, получить доступ к базам данных ДСП (например, УВД), создать сеть неформальных источников во всех “органах” и пасти их, а также завести доверенных лиц в силовых структурах, которые могли бы, в случае чего, вытащить из беды.

Реальные практики далеки от этого идеала. Взять хотя бы то, что в исследуемой газете как-то раз расследование было поручено мне — человеку, хоть и имеющему опыт журналистской работы, но никогда ничего не расследовавшему. Вознаграждение, как правило, не соответствует затратам и рискам, связанным с расследованием. Кроме того, так как узкая

специализация редко возможна, журналист всегда проигрывает своим источникам в компетенции. Поэтому иногда дело ограничивается воспроизведением мнений конкурирующих источников, а собственно расследований, несмотря на всю престижность этой деятельности для журналистов, не так много.

В то же время, артикуляция мнений, не связанная с детальным расследованием, присутствует довольно часто. Авторские интерпретации вплетаются — вполне осознанно — в структуру репортажей. На это, на мой взгляд, есть две основные причины. Во-первых, “артикуляция мнения” в иерархии журналистских видов деятельности стоит выше “информирования” — потому, что считается требующей больше “мозгов”, чем репортерская работа (“*репортера ноги кормят*”). Во-вторых, большинство моих информантов, в отличие от своих американских коллег, вообще не считают возможным отделить “факт” от “комментария” и не стремятся этого делать. Я предполагаю, что здесь как раз сказывается тот опыт, которого у американцев нет: опыт общения с советскими СМИП⁵⁷ — “коллективным агитатором, пропагандистом и организатором” [12]. Поэтому-то инструментальный подход журналистов к исходному материалу не только признается ими, но и не является неожиданностью для аудитории.

Коммуникативное действие “артикуляции мнения”, таким образом, направлено на избавление от посредников между журналистами и реальностью с целью создания собственных (первичных, а не вторичных) интерпретаций и восстановление/конструирование утерянных связей между выявленными “фактами”.

2.3. Развлечение и “произвольное” обращение с источниками.

Развлекательные жанры (ток-шоу, телеигры, курьезные истории и др.) — это кульминация инструментального подхода к источникам. Классическим примером является гороскоп, жаркий спор о котором я наблюдала в редакции газеты. Приведу два

57 Средства массовой информации и пропаганды — название масс медиа в советском дискурсе (для сравнения — в западном: масс медиа — массовые посредники).

полярных мнения: (1) *“Если бы в этих текстах присутствовала неявная ирония, тогда это развлекательное чтение. Можно вообще не ходить в академию астрологии, а самим писать”*. Здесь предлагается вообще не выдвигать претензий на истинность, и с помощью иронии поставить об этом в известность читателя. (2) *“Астрология — кормушка для массы проходимцев. Зачем поощрять низменные инстинкты?”* Автор этих слов, наоборот, полагает, что претензии на истинность неявно вкладываются в гороскоп авторитетом газеты, что внушает читателю ложную веру.

Другой пример выдвижения развлекательной задачи в ущерб претензиям на истинность (из дневника):

“Нач. отд. инф.: Надо создать рубрику “Вечерний звон” — слухи тоже должны присутствовать, это очень читаемо. А потом их проверять и опровергать.

Ведущий обозреватель: По закону слухи публиковать нельзя. (Все смеются)”.

Существует также масса текстов и передач, в которых претензии на истинность присутствуют, но являются вторичными. В этих текстах реальность произвольно “пересобирается” из составных частей так, чтобы соответствовать задаче журналиста: будь то чисто развлекательная задача, или развлекательно-регулятивная — как часто случается с текстами/передачами на “моральные” и социально-психологические темы. Именно так я делала заметку для отдела социальных проблем, основанную на письме пенсионерки, которая просила написать несколько теплых слов о своих подругах. *“Ограниченность возможности общения у пенсионеров — это проблема”, — сказала зав. отделом, поставив передо мной задачу “всплакнуть с читателем”*. Привожу отрывок из полевого дневника:

“Я собирала материал так. Мама сказала, что в кафе около ее работы какие-то пенсионеры собираются на посиделки, а буфетчица из милосердия бесплатно наливает им кипяток (я зашла в это кафе: там сидели пожилые люди, но я не уверена, то ли это кафе). Моя бабушка руководила клубом садоводов, который фактически был клубом общения (правда, бабушки к тому моменту уже не было, и клуб распался). Моя тетья

встречалась со своими однополчанами (правда, всего раз в год, и в последний раз она не ходила), а моя соседка по лестнице просто знает полдома (хотя она сказала, что многие из ее подруг умерли). Я собрала все эти случаи в сборник рецептов того, как пенсионеры могли бы организовать свое общение, при этом опустив свои родственные связи с источниками и информацию, которую я здесь привела в скобках”.

Что удивительно, после выхода заметки одна моя знакомая пенсионерка действительно всплакнула и решила завязать знакомства с соседями — коммуникативная задача неожиданно оказалась выполненной.

Другой тип действия, мало претендующего на истинность — ток-шоу типа “Моя семья” В. Комиссаров или “Про это” Е. Ханги. Центральной задачей для них является артикуляция тех или иных нормативных суждений, предоставления возможности выбора норм, а истинность, или реальность самих персонажей оказывается на периферии. В передаче “Моя семья” мозаике разных норм подводится эксплицитный итог в виде резюмирующей реплики ведущего, в которой противоречия снимаются предпочтением одних суждений другим. Ведущий в этом случае выдвигает претензии на законное право делать подобные обобщения. В ток-шоу с названием-эвфемизмом “Про это” зрителям самим дается возможность выбрать из калейдоскопа суждений, а ведущая снимает с себя ответственность за высказанные мнения.

Претензии на истинность иногда столь периферийны, что начинают “смазываться”. Например, в газете “Калейдоскоп” встречаются судебные очерки, написанные в жанре художественных рассказов по мотивам реальных событий, с массой нескрываяемо выдуманных деталей (как, скажем, предсмертные слова жертвы при ненайденном убийце).

Иными словами, в развлекательном коммуникативном действии связывание кубиков реальности целиком подчинено логике создания товара-игрушки, мира, правила которого напоминают правила реальности примерно так же, как шахматы похожи на настоящие военные действия. Характерная черта таких игрушек — недоопределенность их отношений с миром “реальности”, что ставит их на грань легитимного, но, при

“правильном” исполнении действия, не выталкивает за его рамки.

3. Скрытые коммуникативные задачи: внешние ограничения действий журналистов

Открытые коммуникативные задачи — это нормативные представления журналистов о целях их деятельности; они легитимны в глазах самих журналистов и поэтому открыто демонстрируются читателю. Существует, однако, ряд задач, которые отрицательно маркированы, но которые журналисты вынуждены преследовать в силу различных внешних влияний. Таких коммуникативных задач можно выделить три: (1) скрытая реклама; (2) выполнение политического заказа и (3) выполнение обязательств перед друзьями, деловыми знакомыми и т.п.⁵⁸ Преследование таких целей приводит не к прямой лжи, а к замалчиванию части информации или к особой интерпретации. Сами по себе эти действия не могут быть отрицательно маркированы, потому что без них не обходятся вполне легитимные акты (кто в праве определить, что данный случай умолчания или интерпретации не оправдан?). Такие действия оказываются нелегитимными в глазах журналистов, когда стигматизированные цели преследуются сознательно.

Еще одна характерная черта этих действий — появление скрытого адресата. Я наблюдала случай, как одна газета выпустила целый номер, рассчитанный на городскую хозяйственную элиту. Номер был распространен на собрании общественности города, где с отчетом выступал губернатор. Перед этим журналисты бурно обсуждали, какую выгоду может получить от этого газета и как в связи с этим следует изменить содержание выпуска.

3.1. Скрытая реклама.

Подлинной задачей скрытой рекламы является выгодное представление товара/услуги, тогда как в производстве эта цель

⁵⁸ В каком-то смысле все три вида можно назвать скрытой рекламой, но под последней я понимаю обмен информационной услуги только на деньги, а не на другие услуги.

маскируется под информацию или независимое мнение. Написание рекламных текстов считается у журналистов занятием малопрестижным, а скрытых — и вовсе выходящим за рамки одобряемого. Нормы и ценности журналистского сообщества — один из механизмов сдерживания всякого рода манипулятивных действий, для которых разорванность МК предоставляет широкие возможности. Я наблюдала, как начальница отдела одной из газет пыталась оспорить “честность” скрытой рекламы, которая *“вводит читателей в заблуждение”* и, к тому же, написана непрофессионально, а главный редактор заявил, что газета получила за этот материал 8 миллионов, и заставил коллегу замолчать.

Позже, комментируя этот разговор, информантка акцентировала, что непрофессиональный рекламный текст отталкивает потенциальных рекламодателей; ее не интересовало, какое действие реклама произведет на читателя, лишь бы фирма-заказчик была довольна. Поэтому позицию редактора она сочла недалёковидной: *“Сейчас мы получили 8 миллионов, но в дальнейшем можем потерять больше”*. Кроме того, она считала, что *“уважающим себя рекламодателям”* претит связываться с изданием, которое не брезгует скрытой рекламой, и лучше ориентироваться на них, а не на сомнительные фирмы, дающие сиюминутную выгоду.

По моим наблюдениям рекламные тексты всегда имели своим адресатом прежде всего рекламодателей, а не аудиторию. Они преследовали скрытые цели угодить представлениям заказчика об эффективной рекламе и привлечь других рекламодателей.

Подверженность многих российских СМК скрытой рекламе — следствие их финансовой несостоятельности. Это явление было чрезвычайно распространено в годы, предшествующие разделу СМК финансово-промышленными группами — в 1992-93 годах. Сергей Доренко [13] вспоминает: *“сюжеты ставились в эфир за починку ‘Жигулей’ (...) босс говорил: ‘Вале нужно перевезти мебель, поэтому мы ставим этот сюжет. Она получит две тысячи долларов. Возьмет себе полторы, а пятьсот отдаст в наш фонд.’ Были замы по коррупции. Я сам присутствовал на собрании в одной из*

телекомпаний, где замы по коррупции докладывали: столько-то поставлено сюжетов, столько-то наших детей отправлено на эти деньги в пионерлагеря, столько-то железных дверей поставлено нашим сотрудникам”.

Нельзя сказать, что способов “разоблачения” скрытой рекламы у аудитории совсем нет. Типичный случай скрытого рекламного текста — это когда (мифический) читатель спрашивает, как бороться с перхотью, а в ответе называется только, скажем, Head&Shoulders, то есть когда товар/услуга/деятельность заказчика представляется как единственный существующий вариант решения проблемы. Приведу пример реального текста — того самого, за который было получено 8 миллионов — и способов, которыми такие тексты можно деконструировать.

Текст начинается в формате информационной заметки: “Сегодня в ‘Невском паласе’ состоится презентация открытия представительства торгово-производственной ассоциации ‘П.’(...)”. Затем следует типичный для скрытой рекламы ход: описание общей ситуации вокруг рекламируемого объекта в формате аналитической статьи — в данном случае рассматривается положение на рынке отечественных производителей в сравнении с зарубежными. Далее приводится положительная характеристика фирмы “П.”, вложенная в уста ее делового партнера. Наконец, начинается обстоятельный рассказ о фирме со всеми признаками рекламного текста (типа: “Фирма ‘П.’ строит свою работу на высоких этических принципах”; “Это совершенная защитная система, которая по ряду показателей превысила высшие западные аналоги” и т.п.).

Конечно, для таких операций требуются некоторый опыт и специальные усилия читателя; но распространенность такого рода деконструирования — предмет отдельного исследования.

3.2. Политическая цензура.

Другая задача, которую приходится выполнять журналистам — это приводить свои произведения соответствие с политическими интересами акторов, обладающих рычагами воздействия на СМК. Это задача прямо противоположна исследовательской журналистике, поэтому отношения на эту

тему оформляются в виде торга на двух уровнях: во-первых, между главой СМК и агентами внешнего влияния (прежде всего, спонсорами и высокопоставленными чиновниками), во-вторых, между журналистами и главой СМК. Последний всегда оказывается буфером, пытающимся совместить интересы СМК с интересами агентов внешнего влияния, которые тоже противоречивы. Вот почему и содержание произведений, даже в рамках одного СМК может оказаться противоречивым.

Информации о том, как происходит взаимодействие между главами СМК и внешними силами, крайне мало, а если эти агенты — спонсоры или кредиторы, то ее вообще нет. Однако с большой степенью уверенности можно сказать, что с представителями государственных органов, как выборных, так и правительства, отношения больше похожи на переговоры (хотя и неравные), чем на исполнительную вертикаль в духе советских времен. Бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков в своей книге “Роман с президентом” [14] описывает, как ему приходилось завязывать неформальные отношения с редакторами ведущих газет, заручаться их поддержкой, прощупывать реакцию прессы перед готовящейся акцией. Так как пресс-службы и другие официальные источники — не единственный путь получить информацию о том или ином институте, им приходится считаться с интересами СМК.

Что касается торга между журналистами и их начальством, это происходит не часто, особенно на телевидении, где конкуренция за рабочие места выше, чем в прессе. Тем не менее, я знаю ситуации, когда журналисты пытались добиться от редактора возможности освещать ситуацию так, как они считали нужным. Как-то раз возник крупный конфликт между банками (включая спонсора изучаемой газеты) и одним высокопоставленным чиновником (N.): он принял решение, дающее огромные привилегии тому банку, который этого чиновника поддерживал. Я наблюдала ссору главного редактора (К.) и политического обозревателя (Е.), который упрекал К. в том, что он не разрешает “сюжеты описывать честно”. На это К. вышел из себя и, как бы переводя разговор на другую тему, сказал, что если сотрудники политического отдела не сдадут, наконец, план, у них скоро не будет зарплаты.

Комментируя эту ситуацию, Е. Объяснил мне, почему его борьба не удалась: *“Газета всегда между многих огней. С одной стороны — и я говорил об этом К. — нельзя не вступить за банк, который нас кормит. Тем более что именно он пострадал в этой ситуации больше всего. Но с другой стороны, портить отношения с Н. тоже не с руки. Мы бесплатно получаем типографские услуги благодаря ему — у нас долг типографии больше двухсот миллионов. И он — не лично, конечно — должен звонить туда и уговаривать их нас печатать. А мы после этого его грязью поливать будем? В общем, позиция К. понятна. Но мне кажется, он слишком осторожен. В результате мы ничего не дали по этой теме, другие нас обошли”*.

Если об этапе подготовки медиа-продуктов со скрытыми политическими целями данные получить сложно, то сами продукты вполне доступны. Приведу один небольшой, но яркий пример. Любопытно проследить, какие наименования давались сторонникам независимости Чечни в 1996 году (период постепенного перехода от военных действий к переговорам) и как эти наименования менялись, следуя изменениям в политике. Еще в марте правительственная “Российская газета” всю называла их “бандитами” [15] и (мягче) “боевиками” — подчеркиваю, я рассматриваю не аналитические статьи, а информационные заметки, содержащие “голые факты”, например: “федеральные силы наносят точечные удары по укрепрайону боевиков” [16]. В этот период слово “сепаратисты”, сохраняющееся на протяжении всего 1996 года, является одним из самых мягких наименований. Доминирует образ чеченца-врага и отказ именовать события в Чечне войной.

В апреле происходит изменение курса правительства и, кроме того, гибнет лидер сепаратистов Джохар Дудаев. Уже в мае Аслан Масхадов, который ранее мог бы быть причислен к “бандитам”, уклончиво называется “сподвижником покойного Джохара Дудаева” [17], а группа бывших “бандитов” во главе с Яндарбиевым, прибывшая в Москву на переговоры — “чеченской делегацией” и “чеченской стороной” [18]. Правда, должность Казбека Макашева еще завычена: он именуется “‘министр[ом] внутренних дел’ самопровозглашенной сепаратистами ‘республики Ичкерия’” [18]. В сентябре на

страницах газеты уже фигурирует слово “оппозиция” — определение, придающее описываемому объекту вполне “легальный” статус. Масхадов, соответственно, назван “начальником штаба вооруженных сил чеченской оппозиции” [19], а фактически отстраненный от дел Доку Завгаев — подчеркнуто неопределенно “официальным главой” [20] Чечни. Таким образом, чеченцы из врагов постепенно превращаются в партнеров: иначе получилось бы, что российские власти вступают в переговоры с бандитами.

Конечно, обычные читатели, как правило, не следят так подробно за изменением языка СМИ, но все же, как только скрытые политические цели угадываются аудиторией, они могут быть отвергнуты как нелегитимные. В этом преимущество современных российских читателей перед советскими: раньше оспорить идеологизированное высказывание по основанию политической ангажированности было бы весьма непросто, так как роль коллективного агитатора, пропагандиста и организатора приписывалась СМИ открыто, и агентам политического влияния не приходилось прятаться. Скорее, можно было (хотя лишь формально) оспорить лозунг открытой партийности СМИ, противопоставив ему требование объективного отражения реальности. Такое требование отсылает к другому нормативному порядку — демократическому: кто не выдвигает претензий на истинность новостей, тот не оправдывает претензий на правильность с точки зрения этого нормативного порядка. Вот почему “инструментальное использование” советских СМИ становится синонимом неправильному использованию у Уилбура Шрамма, сокрушающегося о том, что “в советской концепции нет места представлению о прессе как о ясном, ни от кого не зависящем зеркале событий” [21]. Расхождение между скрытыми и открытыми целями в советских СМИ лежит в другой плоскости: в представлении интересов партии как интересов народа.

3.3. Личные обязательства и зависимости.

Третий вид скрытых коммуникативных задач связан со всякого рода частными обязательствами журналистов перед родственниками, друзьями, людьми, которые оказывают

газетчикам какие-либо услуги, а также организациями, от которых они зависят не как представители прессы, а лично. В этих отношениях обе стороны в личных целях обмениваются не принадлежащими им ресурсами, к которым имеют служебный доступ.

Так как единственная услуга, которую могут предоставить журналисты, это услуга информационная, то такой обмен услугами в СМК не имеет четких границ с понятием скрытой рекламы. Всего я бы выделила шесть типов отношений, охватывающих оба понятия: реклама за деньги, доход от которой (1) целиком идет на нужды СМК, (2) делится между СМК и журналистом; (3) присваивается журналистом тайно от начальства; и обмен информационной услуги на (4) услуги, необходимые для существования СМК (напр., получение лицензии); (5) услуги и СМК, и лично журналистам (напр., облегчение таможенных процедур); и (6) услуги лично журналистам.

Здесь я остановлюсь на сфере неденежного обмена, так как рекламы за деньги я уже касалась. Например, информант И. Сообщил мне, что *“Рядовых милиционеров критиковать можно, а главного — нельзя, потому что у журналистов машины, всем надо техосмотр проходить”*. У глав СМК есть обязательства перед своим кругом. По словам информанта Г., в его издании все знают, что дочь редактора танцует в престижном театре, поэтому ее нельзя упоминать меньше, чем другую танцовщицу такого же ранга. Материалы начальственных протезе могут иметь привилегированное положение перед другими, независимо от того, соответствуют ли они нормам профессионализма, принятым в журналистском сообществе.

В исследуемой газете как-то раз я наблюдала переполох в отделе информации в связи с тем, что они якобы забыли поставить во вторую полосу поздравление с днем рождения некоего важного М. *“А этот М. что, член политбюро?”* — спросил корреспондент Д., который был не в курсе дела. *“Это было личное распоряжение К.! [главного редактора]”* — ответил начальник отдела. *“А-а”*, — понимающе протянул Г. В результате заметку нашли разверстанной в третью полосу, и все успокоились.

Мне также известен случай, как у одного журналиста возникли трудности с загранпаспортом. Этот вопрос был решен его начальником через связи в соответствующих ведомствах, за что издание обеспечило адекватное освещение одного уголовного процесса.

Таким и сходным образом СМК используются журналистами для решения своих частных проблем. При этом услуги разным лицам выдаются за информацию или независимое мнение: день рождения нужного человека предстает как общественно значимое событие, достойное упоминания в газете; хвалебный отзыв, обусловленный личными обязательствами, предстает как объективная оценка. Аудитории такие скрытые цели отслеживать гораздо труднее, чем политическую ангажированность, потому что они не носят регулярного характера и не могут быть выявлены даже с помощью длительного сопоставления продуктов разных СМК.

4. Совмещение конкурирующих задач как тип коммуникативного действия.

Итак, наличие скрытой рекламы обусловлено в основном экономически, скрытого диалога с властями — политически, скрытого оказания услуг через газету — включенностью журналистов в разнородные социальные сети. Эти внешние ограничения создают принудительные коммуникативные задачи, которые противоречат нормативным представлениям журналистов о том, какие задачи должны преследовать СМК. Возникает необходимость совмещения конкурирующих задач. По выражению информантки Л.: *“Надо совместить несовместимое: и угодить, и лица не потерять. В этом трагедия журналистики”*. Для этого применяются разные стратегии.

Информант В. объяснил мне, как он совмещает свои задачи с противоречащими им целями важных для него источников. Он делает сюжеты, которые идут в разрез с их интересами, но затем компенсирует свою провинность в другом контексте. Например, кража компьютера с избирательного участка была подана им под “политическим соусом”: в ряду многочисленных нарушений в ходе предвыборной кампании

версия о намерении преступника сорвать голосование выглядела вполне правдоподобно. Пресс-секретарь соответствующего ведомства, по словам В., рвал и метал. Корреспондент мог лишиться его расположения, однако уже на следующий день в репортаже, где речь шла в целом о другом, он вставил фразу о том, что “по данным предварительного следствия” высказанная ранее версия не подтвердилась и кража оказалась простым хулиганством. После этого пресс-секретарь простил провинившегося журналиста, и отношения восстановились.

А этот диалог я наблюдала на собрании в исследуемой газете.

“Один из начальников: Между прочим, я в результате сделал из нее [из статьи] конфетку. И волки сыты, и овцы целы. Умные понимают наше отношение, а дураки счастливы. Вот так надо работать с такими материалами с точки зрения руководства. А то из выступающих получилось только X и Y, а Z [называет должность] как будто вообще не было. Я просто вставил фразу, что он был, это никак нас не поднимает и не опускает. А то были бы сегодня уже обиды всякие.

Один из подчиненных: Надо определиться, что вы хотите (...). Сначала шла речь, чтобы не ругать Z. Потом что его не надо поминать всуе. А теперь что, надо поминать? Для меня в этом материале было мало иронии”.

Написание ироничных материалов — излюбленный способ попытки ведения “честного” диалога с читателем “под носом” у властей. Эта и другие подобные тактики тянутся с советских времен.

Информантка Н. рассказывала мне, что начальник приказал ей написать статью о бездарной (с ее точки зрения) поп-группе, потому что там играл сын его приятеля. Н. гордилась тем, как она сумела совместить конкурирующие задачи: она написала эту статью в целом как хвалебную, но при этом, по словам ее коллег, узкий круг специалистов понял, что “вы, ребята, вообще — вы никто”. Это произведение, таким образом, представляет собой трехслойный пирог: (1) декларируемая задача: “объективная” рецензия; (2) скрытая задача: услуга друзьям; (3) скрытая задача “второго порядка” (скрытая от заказчика услуги): отрицательный отзыв.

Аналогичный пример, выполненный на графическом уровне: в одной из газет в рубрике ответов на вопросы читателей был помещен рекламный текст, который, как и другие информационные материалы, начинался с вопроса в рамке и не содержал указания “На правах рекламы”. В то же время, графически он был подверстан к блоку рекламных модулей и содержал сходные элементы дизайна, что не давало читателю возможности однозначно классифицировать текст. В этом примере также присутствуют три слоя задач: (1) декларируемая задача: объективная информация; (2) скрытая задача: реклама; (3): скрытая задача второго порядка: разоблачение первой скрытой задачи.

Как видно из примеров, вторая скрытая задача на самом деле открыта для части аудитории; иногда такая задача может быть открыта и для всех — это уже псевдо-скрытая задача, или ситуация “Эзопова языка”. Такой прием применяется, когда нужно донести до аудитории информацию, чреватую санкциями, выскользнув при этом из сферы, на которую эти санкции могут распространяться. Например, когда ставится задача обвинить человека, чья вина не доказана в суде. Открытое обвинение влечет юридические санкции, зато имплицитное не поддается юридическому контролю. Приведенный ниже отрывок из июньского выпуска петербургской передачи криминальных новостей построен на принципе пропущенных связей.

Кадр 1. Зал суда, фоновая музыка: “Мальчик хочет в Тамбов”⁵⁹. Голос ведущего: Если выразаться на музыкальном жаргоне, то, бесспорно, криминальными хитами июня в Санкт-Петербурге можно считать два судебных процесса, известные как дело БМП и осмиевое. (...) Эти два дела, несмотря на то, что обвиняемым инкриминируются только уголовные статьи, объединяет причастность к ним высокопоставленных персон и фигурирующие в деле запредельные суммы.

Кадр 2. А. Собчак (возмущенно): Почему вы опять считаете деньги в чужих карманах?

Кадр 3. Зал суда, голос ведущего: На скамье

59 Упоминание города Тамбова в контексте криминальных новостей имеет для петербуржцев ясную связь с “тамбовской” криминальной группировкой.

подсудимых Невского райсуда Лев Савенков с группой товарищей. *(Дальнейший текст не имеет отношения к Собчаку).*

5. О регулятивной “функции” СМК

В предыдущих разделах я описала некоторые воплощенные в практиках журналистов правила, которые конституируют типичные коммуникативные действия в СМК, и указала на источник этих правил — открытые и скрытые коммуникативные задачи. В заключение я хочу сказать о том явлении, которое замыкает нарисованную картину коммуникации и которое функционалисты назвали бы “регулятивной функцией”. В моей терминологии оно распадается на две части: регулятивные интенции журналистов вместе со способами их воплощения, с одной стороны, и с другой — непредвиденные регулятивные “эффекты”, то есть неожиданные использования СМК аудиторией.

Классическим образцом открытого регулятивного действия является открытая реклама. О рекламе не судят в категориях истинно/ложно (если не считать, скажем так, пропозициональной части рекламы, где происходит отсылка к реально существующему товару). Например, хотя публика была бы, наверное, сильно удивлена, если бы широко рекламируемый “Ариэль” оказался выдумкой, но высказывание типа “отстирывает лучше, чем обычный порошок” с позиции “истинно/ложно” оценить сложно. Образ “обычного порошка” в виде коробки без опознавательных знаков создается и осознается как атрибут рекламного жанра, почти как литературный персонаж. Попытки укоренить его в реальности привели бы к разрушению коммуникации.

Регулятивные задачи, конечно, есть и в скрытой рекламе, коммерческой и политической, однако об этом уже достаточно говорилось. Гораздо более любопытным оказывается феномен присутствия регулятивного послания в произведениях СМК помимо воли их создателей. В исследованиях СМК журналисты часто описывались как бестрепетные манипуляторы сознанием, крепко держащие в своих руках все нити управления

восприятием аудитории. Однако, во-первых, журналисты не контролируют способы потребления их продукции (и это описано в поздней литературе по СМК [22]), а, во-вторых, они вряд ли больше свободны от интерпретаций, норм и форматов, которые они навязывают своим адресатам. Было бы наивно приписывать авторство произведений СМК (как содержательно, так и по форме) только журналистам, и это было отчасти показано выше. Вместе с тем, даже после выпуска “нейтральных” новостей, которые просто “описывают” реальность, мир становится уже не таким, каким он был до этого. Сама артикуляция нормативных суждений в ток-шоу вносит изменения в мир реципиента, даже если он не берет высказанные нормы за образцы. Тем более трудно предсказать, каким именно образцам он решит следовать.

В Петербурге получила известность история двух несовершеннолетних девочек, убивших свою престарелую соседку. По признанию [23] одной из юных последовательниц Раскольникова, идея “попробовать себя” пришла подругам после просмотра передачи Познера “Человек в маске”: ее герой рассказывал, как убийство сделало его внутренне свободным. Такой исход, я полагаю, не был коммуникативной задачей Познера, но все же я бы не стала считать такую коммуникацию неудавшейся. Неожиданные способы восприятия произведений СМК — следствие базовой характеристики массовой коммуникации: ее разорванности. Эту черту можно учитывать или нет в своих коммуникативных действиях, но признать все подобные ситуации “сбоем”, значит, признать “сбоенной” всю МК.

Неожиданные использования СМК аудиторией вообще чрезвычайно разнообразны. “Чтение представляет искусство какое угодно, только не пассивное”, — писал де Серто [24], понимая при этом категорию чтения метафорически, как понятие более общее, чем потребление. Одна из самых крупных ошибок советских идеологов была в их вере в то, что контролировать медиа-продукт — значит, контролировать его восприятие. Партийные лидеры еще спокойно почивали на лаврах, когда население уже всю рассказывало анекдоты про Брежнева и сдавало пачки непрочитанных газет в макулатуру, чтобы приобрести дефицитные издания. Эти явления до сих пор мало

изучены. В этой связи любопытны результаты исследования Либса и Каца⁶⁰ о восприятии телепродукции в США, Японии и Израиле, выявившего существенные различия в интерпретации мыльной оперы разными группами. Например, американцы комментировали мотивы поведения персонажей в психологических категориях, делая акцент на межличностных отношениях; марроканские евреи и израильские арабы — в терминах семейной иерархии, а русские эмигранты склонны были считать, что персонажами манипулируют создатели сериала. Видимо, опыт потребления советских СМК не прошел для них даром.

Отсюда особенно наглядно видно, почему понятие успешности коммуникативного действия в МК становится несколько проблематичным. Скажем, если реципиент “разгадал” скрытую рекламу, такое действие — успех реципиента и неуспех журналиста, и наоборот. Однако это не повод впадать в крайний конструктивизм. В этой работе я пыталась предложить прагматическое видение проблемы, где массовая коммуникация — это игра, в которую разные участники — журналисты, агенты внешнего давления и аудитория — входят каждый со своими целями, используя масс медиа как средство для их достижения. Вполне естественно, что “правильным” использованием всегда будет считаться преследование лишь одобряемых целей, но исследовать всегда интереснее скрытую часть айсберга.

Литература

1. McLuhan M., Fiore Q. *The Medium is the Message*. Harmondsworth: Penguin, 1967.

⁶⁰ Liebes T., Katz E. *The Export of Meaning: Cross-Cultural Reading of ‘Dallas’*, 2nd edn. Cambridge: Polity Press, 1993. Излагается по книге Дж.Б. Томпсона [9, 173-174].

2. Витгенштейн Л. Философские работы /Пер. с англ. М.: Гнозис, 1994. Ч. 1.
3. Austin J. L. How to Do Things with Words. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1962.
4. Searle J. R. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
5. Habermas, J. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Reason and the Rationalisation of Society. Polity Press, Blackwell Publishers, 1995.
6. Jensen C.B. Humanistic Scholarship as Qualitative Science: Contributions to Mass Communications Research. In: Jensen C.B.; Jankowski N.W. (eds.) A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. London and New York. 1991.
7. Krippendorff, Klaus. A Recursive Theory of Communication// Crowley, David; Mitchell, David (eds). Communication Theory Today. Cambridge, Polity Press, 1995.
8. Ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация /Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. (2) Van Dijk, T. A. The Interdisciplinary Study of News as Discourse // A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research / Ed. by C.B. Jensen, N.W. Jankowski. London and New York: Routledge, 1991. (3) Van Dijk, T. A. Discourse and Cognition in Society // Communication Theory Today / Ed. by D. Crowley, D. Mitchell. Cambridge: Polity Press, 1995.
9. Thompson, J.B. The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Cambridge: Polity Press. 1995.
10. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров// Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
11. Lasswell, H.D. The Structure and Function of Communication in Society. In L.Bryson, The Communication of Ideas. New York: Harper. 1948. (2) McQuail D. Towards the Sociology of Mass Communications. Collier-Macmillan. Canada Ltd., Toronto. 1969. (3) Wright., C.R. Mass Communication. A Sociological Perspective. New York. 1959. И др. работы.
12. Ленин В.И. С чего начать?// Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 5. М: Издательство политической литературы, 1979, с. 11.
13. Доренко С. Доренко в школе Познера. Стенограмма учебного занятия в школе телевизионного мастерства под руководством

- Владимира Познера. *Среда*: 1998, № 2-3, с. 12.
14. Костиков В.В. Роман с президентом. М.: Вагриус, 1997.
15. *Российская газета*, 1996: (1) “Бандиты готовят войну по всей России” — 19 марта; (2) “Чеченским бандитам готовят подкрепление” — 26 марта; (3) “От первого лица. Доку Завгаев: под политической маской дудаевцев — лица бандитов” — 28 марта.
16. “Операция в Бамуте”, *Российская газета*: 1996, 16 марта.
17. “Кто вы, Аслан Масхадов?” и “Аслан Масхадов: не надо воевать до последнего чеченца”, *Российская газета*: 1996, 14 мая.
18. “Едина и неделима”, *Российская газета*: 1996, 28 мая; “Трудный диалог”, *Российская газета*: 1996, 6 июня.
19. “Кровопролитие остановлено. Теперь — ковать мир”, *Российская газета*: 1996, 3 сентября.
20. “Штурм Грозного — только слухи”, *Российская газета*: 1996, 14 сентября.
21. Сиберт Ф. С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре Теории Прессы /Пер. с англ. Россия: Национальный институт прессы, 1998, с. 179. 1 изд.: Иллинойс, 1956.
22. Fiske, John. *Understanding Popular Culture*. London: Unwin Human, 1989. И др.
23. “Вне закона”, ТРК “Петербург”, 7 сентября 1998.
24. Certeau M. de. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1984, p. xxii.

В.П. Елизаров

“Республика Ученых”: Социальное пространство
“невидимого сообщества”⁶¹

Происхождение термина “Республика Ученых” исследователи возводят к итальянским гуманистам начала 15-го века [1]. Английский термин “Republic of Lettres” и французский “Republique des Lettres” являются кальками латинского выражения “Respublica Literaria”, что может быть переведено и как “Республика Ученых” и как “Республика Наук”. Под “Республикой Ученых” принято понимать свободную ассоциацию европейских интеллектуалов 15-18 вв.

Существование “Республики Ученых” происходило в разных социальных контекстах и в разных формах:

- 15-16-й века — существует параллельно официальным структурам, практически не пересекаясь с ними
 - 17-й век — активная политика социализации, появление первых научных институтов и научной периодики — формальных каналов коммуникации “Республики Ученых”
 - 18-й век — снова “параллельное существование”, но уже по отношению к созданным через ее посредство социальным структурам. На этом этапе активность “Республики” направлена скорее на разрешение социальных напряжений в институциональных структурах науки, и теперь, она становится элементом коммуникационной инфраструктуры нового, уже профессионализованного социального слоя
- “Республика Ученых” является постоянным объектом интереса для исследователей истории науки, литературы, искусства Европы начала нового времени. Однако, исследователи обращались прежде всего к “исходному продукту” деятельности “Республики”: текстам, созданным ее “гражданами”, их социальной и политической деятельности.

61 Эта работа была выполнена при поддержке фонда Сороса, грант RSS No. 870/1997. (This work was supported by Research Support Scheme of the OSI/HESP, grant No.: 870/1997.)

Отсюда традиционное использование “качественных” методов: герменевтики, анализа научного дискурса, etc.

В данном исследовании сделан другой выбор: обратиться к природе того явления, которым была “Республика Ученых”. Исходным положением будет тот факт, что деятельность и существование “Республики Ученых” протекала в виртуальном пространстве коммуникаций. Гражданин “Республики Ученых” — это европейский интеллектual, который общается посредством переписки с другим интеллектуалом. Коммуникационная система личной переписки была единственной социальной инфраструктурой одного из самых известных и влиятельных явлений трех столетий европейской истории. Если “Республика Ученых” является не чем иным как динамической конфигурацией социальных связей, осуществляемых посредством механизма почтового сервиса, то главным проблемой становится анализ этой системы как отдельного феномена. “Республику Ученых” можно рассматривать как почти идеальный материал для анализа подобных социальных феноменов. Как аналогичные явления для двадцатого века могут быть названы “невидимые колледжи”, пространство-Интернет, и не могут быть названы различного вида “субкультуры”. Различие принципиальное: виртуальное пространство имеет тотальный характер, и не является социальной производной культурных комплексов. Скорее наоборот, именно в силу его тотального характера в нем может происходить кристаллизация различных субкультур.

Предполагается, что границы пространства, в котором существует “Республика Ученых” задаются следующими параметрами:

- коммуникационным механизмом, который является социальной инфраструктурой явления
- структурой организации социальных связей
- конфигурацией идентификационных полей

Данное исследование затронет главным образом второй из трех предложенных аспектов: структуру организации социальной

сети “Республики Ученых”. В качестве эмпирической основы работы была выбрана переписка М. Мерсенна. Марен Мерсенн, французский ученый, монах — ордена миноритов родился 08.09.1588 г. Получил образование в знаменитой иезуитской школе Ла-Флеш, где изучал теологию, философию, познакомился с традицией гуманистической учености. После Ла-Флеш продолжил обучение в Сорбонне, а затем, исключая пять лет профессората в Невере и нескольких путешествий в Голландию, Италию и южные провинции Франции живет до конца жизни в Париже в монастыре Пале-Руаяль. М. Мерсенн внес значительный вклад в современное ему естествознание, прежде всего в область физико-математических наук, однако известность в истории науки обеспечила ему его научная переписка, которую он вел в течение всей жизни. Корреспонденция М. Мерсенна, в которую входили практически все значительные ученые того времени, была “самой большой системой коммуникаций в научном мире эпохи” [2]. Это позволяет использовать корреспонденцию М. Мерсенна в качестве фокуса социальной истории науки середины 17-го века — периода наиболее активной и успешной социальной политики “Республики Ученых”, время формирования новой концептуальной матрицы, на основе которой протекает дискурсивная деятельность “Республики”, период структурной интеграции сообщества в общий социальный контекст.

“Correspondance du pire Margen Mersenne” была издана в Париже с 1932 по 1988 гг. в 17 томах (включая справочный том). Хронологические рамки корреспонденции: 1617-1648 гг. Количество документов: 1873. Языки переписки: французский, английский, латинский, голландский, итальянский. Анализ переписки строился в основном на формальных характеристиках. Угол зрения под которым рассматривалась корреспонденция, а именно: социализация науки, появление принципиально новых для того времени социальных форм интеллектуального производства, диктовал подход к анализу переписки и отбор

критериев для него. Были обследованы 1236 писем в двух хронологических периодах: 1617-1630 гг. (186 документов) и 1638-1647 гг. (1050 документов). Письма оценивались по следующим параметрам: 1) автор письма; 2) место отправления; 3) получатель; 4) место назначения; 5) дата отправления; 6) язык документа. На основе этих параметров была составлена реляционная база данных, обработанная с помощью программы ReseauLu (автор — А. Могутов). Полученные схемы позволили продемонстрировать открытый, децентрализованный характер корреспонденции М. Мерсенна, составить схемы связей персонажей корреспонденции, “карты” географического и лингвистического пространств “Республики”. В ходе анализа дополнительно были использованы данные просопографического исследования, основой для которого также послужила переписка М. Мерсенна. Для проведения просопографического анализа был установлен круг персонажей корреспонденции (всего 312 человек), оценивался по: 1) дата рождения; 2) дата смерти; 3) вероисповедание; 4) социо-профессиональный статус; 5) предмет научных интересов.

Институциональный контекст

В 16-м веке основными предметами интереса “граждан Республики Ученых” была филология, философия, политическая теория и литература. Это были те области, в которых менее всего ощущалось давление авторитета старых институтов производства знания, — прежде всего университетской системы. Естественнонаучное направление содержательно связанное с “научной революцией 17-го века” и социально и концептуально занимает маргинальное положение (термин здесь и далее употребляется исключительно в топографическом, а не аксиологическом значении).

Институциональная история науки первой половины 17-го в. характеризуется исследователями, как правило, чисто негативно по отношению ко второй половине века — периоду

возникновения первых научных академий и журналов: нет официальных научных учреждений, нет официальных каналов научной коммуникации, т.е. периодики. Вместо этого есть — неофициальные, частные собрания, именовавшиеся как правило “кабинетами” или “академиями”, и, опять же неофициальная переписка — которые и являются социальной инфраструктурой появляющейся науки.

Первые сообщества, деятельность которых определяется ориентацией на естественнонаучные исследования появляются в тридцатые годы 17-го в. Самым знаменитым из них стала “академия Мерсенна” — частные собрания интеллектуалов, главным предметом интереса которых были физико-математические науки. После смерти Мерсенна самыми известными кружками являются: “академия” Ле Пайера (1648-1654); собрания проходящие у аббата Пико, кружок Ле Февра (до 1658 г.); “академия” Монмора (1654-1664); “академия” Тевено (1664-1666) [3, с. 33-34]. Круг персонажей этих собраний составляют в большинстве своем одни и те же лица [3, с. 39-46].

В 1655-1665 гг. старая форма неофициальных кружков уже не удовлетворяет научное сообщество, часто личные отношения, бывшие основой этих объединений парализуют деятельность “академий”.

1666 г. — появление “Парижской Королевской Академии Наук” — первого во Франции официально признанного научного института нового типа. Создание Королевской Академии было результатом деятельности премьер-министра Франции Кольбера по нахождению компромисса между старыми институтами и вышедшей из подполья корреспонденции и кружков новой интеллектуальной элитой. За несколько лет до этого, в 1662 г. было основано Лондонское Королевское Общество. Круг корреспондентов М. Мерсенна принимал участие в создании обоих этих институтов. С. Гартлиб, и Т. Гаак — организаторы частных собраний в Лондоне 1640–х годов, послужившие основой будущего Королевского Общества, были участниками корреспонденции М. Мерсенна. Ударная группа, принявшая

вместе с Кольбером непосредственное участие в разработке проекта Парижской Королевской Академии, за исключением двух человек состояла из членов круга Мерсенна.

Здесь важно отметить следующее: для периода до 1700 г. “научная жизнь ... не замыкалась в рамках Академии. Научные проблемы продолжали обсуждаться в светских салонах. Особенно известен был в этом отношении салон принца Конде” [4, с. 99]. Институционализация науки в этот период еще не окончена. Притом, что Академия официально находится под патронажем короля, получает государственные субсидии, она остается пока “кольберовским участным научным обществом” [4, с. 104]. Подобное состояние испытывает и научная периодика, два журнала: “Philosophical Transactions” и “Journal des Scavans” — не могут обеспечить потребности научного сообщества Европы в коммуникациях (об этом еще будет сказано ниже).

Кризис 1680-1690-х гг. хронологически совпадает и у Лондонского Королевского Общества и у Парижской Академии, при различии их организационных устройств, подчеркиваемых самими создателями. В обоих случаях он был связан со следующими обстоятельствами:

- резко неблагоприятной политической конъюнктурой
- фиаско грубо утилитарной концепции социального значения науки, которую декларировали создатели этих обществ
- социодемографической “вилкой” — в эти годы происходит смена поколений интеллектуальной и социальной элит науки, а также осуществляется “разведение” этих функций [4, с. 59-60, 85, 98-104].

Однако именно в ходе этого кризиса наступает окончательное осознание необратимости процесса. Академия превращается в “государственного арбитра научной и технической деятельности” [4, с. 104], что закрепляется “Обновлением 1699 г.” проведенном директивно, “сверху”, и, в отличие от 1666 г. без внимания к мнению самих ученых, с жесткой регламентацией всех сторон научной деятельности. Наука

становится частью государственной системы.

Система коммуникаций

Периоды развитие европейской организации почтовых сообщений практически накладываются на основные периоды институционального развития “Республики Ученых”. Сама возможность существования свободной ассоциации людей науки (*men of lettres*) обязана своим возникновением становлению европейской почты в 15-16 вв. Именно в это время Европа обретает стабильную систему почтовых коммуникаций.

До этого сообщения передавались, как правило, через систему университетской почты, которая контролировала свои почтовые каналы, или с купцами (пользуясь европейскими торговыми путями), или же с дипломатическими посыльными. Единой системы почтовых сообщений не существовало, каждая корпорация, нуждающаяся в коммуникациях, должна была учреждать свою систему сообщений.

Во второй половине 15-го века оформляется особая служба почтовых курьеров в Италии и Германии. Не в последнюю очередь это было связано с проблемами сообщения, возникшими в ходе франко-итальянских войн. В 16-м веке устанавливаются трансъевропейские почтовые пути Таксисов, поддержанные авторитетом императора Священной Римской Империи (поскольку вплоть до Вестфальского мира 1648 г. империя отнюдь не была номинальным образованием, а напротив, играла огромную роль в общеевропейской политической системе, этот факт имел большое значение для развития европейской почтовой системы). Отметим, что именно Италия, откуда берет начало само наименование “Республики Ученых” и Германия были главными центрами “Республики” этого периода.

Конец 16-го — первая половина 17-го века отмечены сразу несколькими почтовыми реформами. Прежде всего, на территории Империи, Франции, Англии и отдельных

республиках Италии, почта становится государственной регалией, превращаясь в часть государственной системы. Хуже всего в 17-м веке организованы почтовые сообщения в Испании, где единое государственное почтовое учреждение образуется только в 1716 г. В Голландии городские почтовые учреждения примыкают к международным линиям Тассисов, учреждая новые маршруты. Кроме того, на почту начинают смотреть как на источник дохода. Почти по всей Европе действует система сменных станций (rele). Учреждается разветвленная почтовая организация со своим штатом, регламентом и развитой иерархией. Главный почтмейстер (Master of the Post, General des Postes) становится одной из приближенных к королю особ. Важно отметить, что именно в этот период почтовая система становится доступной для использования ее частными лицами, до этого она предназначена в основном для обслуживания учреждений.

Во Франции — стране, которая была центром корреспонденции М. Мерсенна, с 1597 по 1653 гг. были проведены пять почтовых реформ общегосударственного значения. Учреждаются административные почтовые центры в главных городах Франции. Регламентируется порядок работы, устанавливается определенный режим отправки и прибытия курьеров.

Корреспонденция М. Мерсенна хорошо отражает этот процесс развития почтовых коммуникаций. Хорошо видно, что центрами корреспонденции являются основные центры системы почтовых коммуникаций Европы. Составив картинку “населения” этих центров (рис. 1) получим, что кроме Парижа, где находится М. Мерсенн, столицами “Республики Ученых” являются Флоренция—Рим—Генуя для Италии, а также Лейден—Гаага для Голландии. Видно, что находящийся на периферии системы почтовых коммуникаций Мадрид является провинцией и на карте “Республики Ученых”.



В рамках данной работы представляется важным отметить следующий факт — в ходе реформирования системы почтовых коммуникаций меняется, деперсонализируется сам характер пользования почтовыми услугами. В первой половине 17-го века, пользование почтой частным лицом превращается в чисто механическую, рутинную операцию, освобожденную от персональных контактов с посредниками, как это было в 15-16-м вв.

Это позволяет понять, как коммуникационным центром “Республики Ученых” смог стать французский минорит М. Мерсенн, о социальной стороне жизни которого неизвестно

фактически ничего. В отличие от 16-го века, когда главными героями “Республики Ученых” были, как правило, личности, социально очень активные (Э. Роттердамский, Ф. Меланхтон, У. фон Гуттен), в 17-м веке изменилась не просто коммуникационная инфраструктура “Республики”. Благодаря техническому характеру и простоте обращения с почтовой системой, превратившей коммуникацию в механический процесс, нивелирующий социальные и личностные характеристики корреспондентов, изменился социальный климат “Республики”. Безусловно, речь не идет о полном социальном уравнивании агентов коммуникации. Но сама структура нового коммуникационного механизма, освобожденная от большей части социальных ритуалов, рутинизировавшая их до уровня приветственных формул (которые пишутся вне присутствия адресата), задавала теперь иные параметры социального пространства “Республики Ученых”.

“Невидимое сообщество”: ученые—бюрократы

Рассмотрим теперь данные по социальной структуре круга корреспондентов М. Мерсенна (табл. 1⁶³):

Социальный слой профессиональных ученых появляется в 18-м веке. Линия профессионализации науки проходит через деятельность Парижской Академии, которая “заложила основы понимания научной деятельности как оплачиваемой государственной службы, признания новой общественной функции науки” [4, с. 129].

Первой срезонирует в деятельности кольберовской академии графа *Прочие*: именно создание обсерватории было “едва ли не первой заботой Академии после ее создания” [4, с. 102-104]; инженерно-технические задачи также были в центре государственного внимания к Академии. Кольбер привлекает складывающиеся структуры науки к решению проблем навигации, экономики, государственного строительства [5].

63 Таблицы с комментариями помещены в “Приложениях” к статье.

Кроме того, трое из шести персонажей группы С — *Чиновники*, были сотрудниками посольств, привлеченными в качестве знатоков восточных языков монахами. В 1666 г. “Кольбер нанял в Королевскую библиотеку переводчиков английского, немецкого и восточных языков. Переводились новые книги, статьи из лондонских “Философских записок”. Одни переводы издавались, другие сохранялись в библиотеке в рукописи” [4, с. 95].

Но более важным представляется следующий момент. Подавляющее большинство персонажей выборки входят в выделяемую исследователями категорию “фрустрированных интеллектуалов” [6]. Европа 17-го века испытывает кризис “перепроизводства интеллектуалов”. Складывается целая “интеллектуальная популяция” выпускников университетов, т.е. прежде всего людей с юридическим и теологическим образованием, которые в отличие от предшествующего периода не могут найти себе работу. Данные для Оксфорда и Кембриджа — около 15-20% выпускников [6, с. 389]. Перенасыщение студентами и “дипломированными специалистами” противоречит социальной потребности и начинает подрывать социальную и экономическую стабильность. Уход в чиновничество и клир, который дает возможность приобретения латинской образованности и получения звания, увеличивает число больших и малых чиновников, которые тем самым, освобождаются от налогообложения. Это увеличивает социальное напряжение в стране, где из сетки распределения налогов (особенно важной для Франции) все большее и большее людей уходит в чиновники.

“Пики перепроизводства”, приходящиеся на исследуемый период расшатывают социальный порядок, спутывают идентификационные шкалы, разрушая фундамент самого общества, стабильность традиционной репродукции семейных позиций. Положение “отчужденных” в их социальных надеждах вызывает эффект диссонанса между системой репрезентаций прав (которая долгое время была социально адекватной, а теперь перестала быть таковой), и социальным функционированием

системы производства интеллектуалов (которое девальвировало эти права) [6, с. 394].

Все это ведет к трансформации “профессиональных и интеллектуальных репрезентаций в социальном и ментальном (*imaginaire*) пространстве”, мобилизации и модификации профессиональных стратегий [6, с. 390-395]. Отметим, что именно Кольбер будет одним из первых, кто заметил, и попытался канализировать ситуацию “перепроизводства интеллектуалов” через образовательную политику.

При обращении к данным анализа социальной структуры круга корреспондентов М. Мерсенна выделяется, прежде всего, высокий удельный вес социальной элиты. Формирующееся научное сообщество имеет реальную базу для социальных манипуляций.

Рассмотрим теперь соотношение данных по социо-профессиональному статусу и интеллектуальным интересам для отдельных категорий круга переписки Мерсенна.

Спутанный спектр номинаций (табл. 2) указывает силу искажения, возникающую при наложении дисциплинарной модели классической науки; средневековой модели, используемой в системе университетской учености того времени; и реальной практики научного исследования. При сопоставлении списка номинаций (табл. 2) и “теста на совместимость” (табл. 3) ясно выделяются математика и физика — основные дисциплины круга.

Явные аутсайдеры — “магические науки”. Виден процесс “нейтрализации” теологии, вывод ее из круга “научных” дисциплин.

Ориентация интеллектуальных интересов круга маргинальна как к университетской учености, так и к гуманистической, область интересов которой лежала преимущественно в сфере филологии, истории, ораторского искусства, морали, политической теории, теологии [7]. Идет переход от средневековой модели к “классической” и круг Мерсенна в авангарде движения. Формируется ядро

механицизма, ставшего концептуальным каркасом естествознания 17-19 вв.

Интересен пример медицины и химии. Это “отстающие” дисциплины для 17-го века и периферийные для круга Мерсенна. Их исследовательские практики ориентированы совершенно иначе, чем в механистической физике. Разрыв между тактильностью ремесла и визуальностью “чистого” умозрения, обеспечивающий интенциональный зазор в физическом эксперименте здесь фактически снят. Медицинские процедуры и химический опыт 17-го века носят еще характер “действия”, структура которого замыкает интенцию, сводя к минимуму пространство медиации. Линия движения идет через физикализацию этих дисциплин. Для Франции особенно важен был “Курс общей химии” Лемери 1686 г. И здесь выделяется группа врачей из Перигора: Т. Дешамп, Ж. Брюн, Ж. Рей; долгое время остававшиеся неизвестными истории науки. Их друг и патрон, адвокат П. Трише из Бордо, помог Ж. Рею опубликовать книгу “Essays” в 1630 г. (в 1951 г. фототипирована в Лондоне). Ж. Рея называют предшественником Лавуазье. Эта тройка ориентировалась в своих химических исследованиях на точные измерительные процедуры, использование физико-математических моделей эксперимента и объяснения для анализа химических явлений [8].

Активное ядро катализирует периферийные дисциплины.

Рассмотрим теперь соотношение данных по социо-профессиональному статусу и интеллектуальным интересам для отдельных категорий.

Табл. 4 и табл. 5 дают картину почти полного совпадения профессиональных занятий и научных интересов. При этом преподаватели не составляют передового отряда “научной революции”. Распределение интеллектуальных интересов подтверждает это. “Враг “Республики Ученых” — корпорация средневековых ученых-университариев, схоластов и богословов” [9]. Это утверждение не абсолютно. Роберваль, например, профессор Сорбонны (кстати, он же — “завкафедрой”

математики Коллеж де Франс). Но все сведения о соприкосновении круга Мерсенна с университетским миром смотрятся как сводки пограничных конфликтов. Самыми громкими стали дела Ж-Б. Морена 1625 г., Ренери и Регия 1639 г., а затем Возция-Декарта.

Следом идут номинации *Священники* и *Врачи* (табл. 4). Здесь также — замкнутость профессиональных занятий и научных интересов, и периферийное положение в круге дисциплин.

В стороне стоит номинация *Чиновники*. Разрыв профессиональных обязанностей и научных интересов существует здесь по определению. Но, кроме того, именно эта категория оказывается самой активной частью научного сообщества (табл. 4). Исследователи отмечают:

- структурное сходство прогностики научного эксперимента и юридических процедур
- изоморфность практик рациональной и юридической аргументации
- использование логики юридического прецедента для решения проблем, возникающих при трансформации базовых концептуальных матриц научного исследования [10].

Рассмотрение материала приложений позволяет дать типизированный портрет “среднего передового” ученого середины 17-го века. Это — высокопоставленный чиновник, со средней продолжительностью жизни 65 лет, который входит в научное сообщество в возрасте 30-35 лет (это время вхождения в “большую” карьеру [11]), главные научные интересы которого — математика и физика никак не связаны напрямую с его профессиональными занятиями.

Оси социальной и интеллектуальной мобильности совпадают.

Для понимания того, как не имеющее институционального оформления научное сообщество могло функционировать в контексте европейского государства 17-го века, следует охарактеризовать вкратце систему патронажных отношений, пронизывавших все европейское общество этого

периода.

Государственная система Нового времени к этому времени еще не была сформирована. Самое централизованное государство Европы 17-го века — Франция представляло на деле совокупность автономных областей, крайне слабо связанных с центральным государственным аппаратом. Управление осуществлялось за счет разветвленной системы отношений патрон-брокер-клиент, посредством которых организовывалась деятельность государственной системы страны, связь между провинциальными властными структурами и национальным правительством Парижа. “Централизация и бюрократизация французского государства была долгим, трудным процессом ... Критическими годами были 1642-1683, когда Ришелье, Мазарини и Кольбер работали над созданием нового французского государства” [12]. Таким образом, централизация государства происходит синхронно формированию научного сообщества, на шаг отставая от развития системы почтовых коммуникаций, необходимых для нормального функционирования государственного аппарата; и на шаг опережая развитие институционального каркаса нового естествознания, которое происходит в рамках складывающейся системы государственной власти.

Академия Мерсенна, стала одним из первых шагов к автономии научного сообщества. Она не имела особенного высокого патрона, хотя ее многочисленные члены были клиентами таких патронов. Мерсенновская академия существовала как “сеть горизонтальных диадических (dyadic) альянсов, каждый член которой был связан с Мерсенном как с фокусной точкой, но также и с другими системой концентрических линий силы. (...) Это делало академию Мерсенна особым местом в интеллектуальном дискурсе, среди других академий этого периода” [13, с. 87].

Мерсенн рассчитывает также основать национальную академию, где межперсональные встречи были бы заменены формальной, более дисциплинированной коммуникацией.

Формальные диалоги, осуществляемые посредством письменной коммуникации, функционировали бы в рамках такой академии как примирители индивидуальных мнений, обеспечивая социально контролируемый дискурс, правила которого смогли бы заменить патрон-брокерский тип медиации. “То, что мы видим здесь, это первая артикуляция смысла научной автономии, но она сделана натуральным философом, который все еще полностью опутан сетью патронажа” [13, с. 87].

На этом пути закладываются основы новой корпорации, которая сама становится коллективным патроном своих членов: “Институт был “над” его членами. Он был между ними и королем — последним источником легитимности” [14, с. 356]. Важно определить, что эта автономия должна была иметь четко определенные границы, которые задавались спецификой деятельности новой корпорации, т.е. спецификой формирующегося естествознания. Незавершенную институционализацию итальянских академий исследователи связывают именно с их недостаточной автономией от “великих патронов”: “князь мог легитимировать научные дискуссии, только оставаясь вдалеке и не требуя для себя роли судьи, принц, вроде Леопольда мог принимать участие в научной деятельности, только если это было представлено исключительно как его личное дело...” [14, с. 362].

Это ограничение действовало и в обратном направлении. Неудачи проектов устройства академий Г. В. Лейбница были следствием их тотального характера. В их рамках научному институту отводилось слишком много прав, его создание подразумевало объединение наук, искусств, политического сервиса, медицины, образования, цензуры, что шло вразрез с прерогативой королевской власти. Г. В. Лейбниц претендует на своего рода социальный эксперимент, где истину будут легитимировать ученые. Исследователи проводят связь между восприятием Лейбницем общества (в том числе и научные институты) и тем фактом, что большинство его интеллектуальных коммуникаций осуществлялось не

посредством личных контактов обменами, посредством письменных диалогов в “Республике Ученых”. “Надо обратить внимание на те каналы (ways) в которых проходила его интерпретация своего опыта социальных сред (environments), таких как общество двора и “Республика Ученых” [15]. Уравнивающий, сводящий социальные переменные европейского общества к единому знаменателю “гражданина Республики Ученых”, дискретный характер коммуникационного механизма почтовых сообщений, стал одним из факторов, способствовавший нарушению тонкого баланса социальной автономии научного сообщества. Однако важно подчеркнуть, что произошло это уже в условиях существования институционального каркаса новой науки. То, что срабатывало как противовес патронажной системе отношений в середине 17-го века, в начале 18-го было уже воспринято как выход за рамки легитимной территории, как покушение на социальную основу королевской власти.

Организация дискурсивных практик

Официальными каналами научной коммуникации и репрезентации 17-го века были университетские диспуты и книгопечатная продукция. Университетский дискурс, с его ограниченным пространством кафедры, четким распределением социальных ролей участников, жестким ритуалом теологического диспута (организованным по бинарной модели тезис—антитезис), представлял собой закрытый для языка новой науки мир. Книгоиздательская деятельность также находилась под контролем университетов (как в отношении теологической цензуры, так и в плане организации жанров, допускаемых в книжной продукции).

Деятельность сообщества сторонников нового естествознания проходившая в рамках частной корреспонденции, неформальных научных собраний, была маргинальна этим институтам не только социально и концептуально, но даже

лингвистически. О социальной основе нового научного сообщества, и его концептуальных ориентациях уже было сказано выше, рассмотрим теперь, лингвистический аспект организации его дискурсивных практик.

Рабочим языком и университетской и гуманистической среды 16-го века была латынь [16, т. 1, с. 20]. Пространство трансформации концептуальных матриц средневековой и гуманистической учености ограничивалось аналитическим каркасом формальной логики, укорененным в языковых структурах латыни [17, с. 333; 16, т. 2, с. 15-16].

Для 18-го века латинский язык — средство межнационального общения ученых. Французские академики из Санкт-Петербурга, публикующиеся на латыни, становятся исключением [18].

17-й век — время экспансии национальных языков⁶⁴. За латинским языком зарезервирована теология, он используется для технических работ, его употребление маркирует корпоративную лояльность.

Сверка соотношения языка и предмета письма показала:

- использование латыни для снятия языкового барьера;
- обсуждения теологических проблем (а, также, писем, касающихся положения Мерсенна как члена конгрегации миноритов);
- работ, связанных с сильно формализованным характером материала (например, некоторых разделов алгебры и геометрии, отметим, что это время — период разработки и принятия десятичного исчисления и алгебраической знаковой системы).

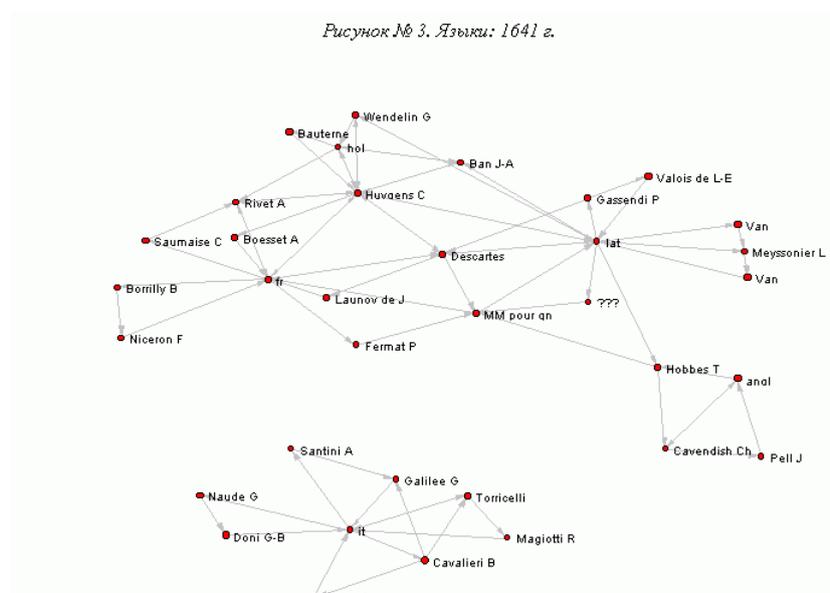
Деятельность подавляющего большинства персонажей круга Мерсенна профессионально занимающимися проблемами языка, связана с переводами с древних и восточных языков⁶⁵.

64 Во Франции исходным пунктом этого процесса стал акт упразднения Францисканского I латыни как государственного и судебного языка [16, т. 2, с. 44].

65 Исследователи отмечают как особенность этого типа переводов — их

Сам Мерсенн много переводит [19]. Процедуры перевода в 17-м веке, которые исследователи характеризуют как: “перенос (transfere), интерпретацию, расшифровку закрытого текста” [19, с. 30]; инициируют трансформационные процессы понятийного аппарата новой науки.

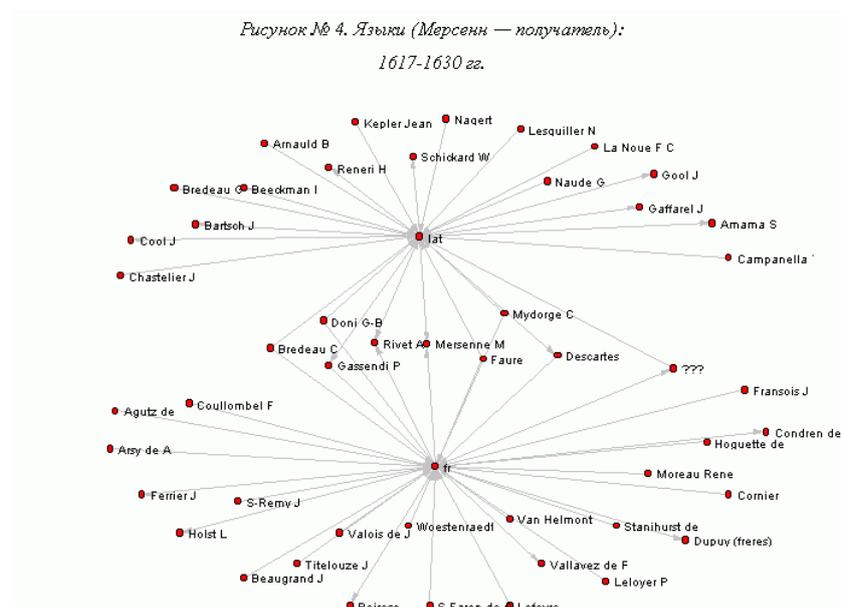
Выделив лингвистические центры “Республики Ученых”, получаем сходные результаты: четкое разделение языковых зон и совпадение их с геополитическими регионами (рис. 3).



Именно итальянский и французский в этот период являются наиболее разработанными в отношении языка научной литературы. Выделяются фигуры — посредники, прежде всего ориентацию на формализацию-деформализацию языковых структур текста [16, т. 1, с. 289-291].

между латынью и национальными языками (рис. 4, рис. 5). Интересно, что Ферма и Декарт — одни из создателей алгебраической знаковой системы являются именно такими посредниками. Вообще, среди персонажей, те, кто пользуется национальными языками, (прежде всего французским и итальянским, а также посредники между ними и латынью), — занимаются в основном физико-математическими науками. В “латинском ареале” преобладают персонажи, ориентированные на филологические и теологические исследования (Конечно, это преобладание не абсолютное, и репрезентативной выборки здесь составить нельзя, но такое распределение все же достаточно показательно для постановки вопроса о динамике связи лингвистических и символических знаковых систем. Интересно, также, что трое из ориенталистов круга Мерсенна — крупные математики, двое из них лингвисты.)

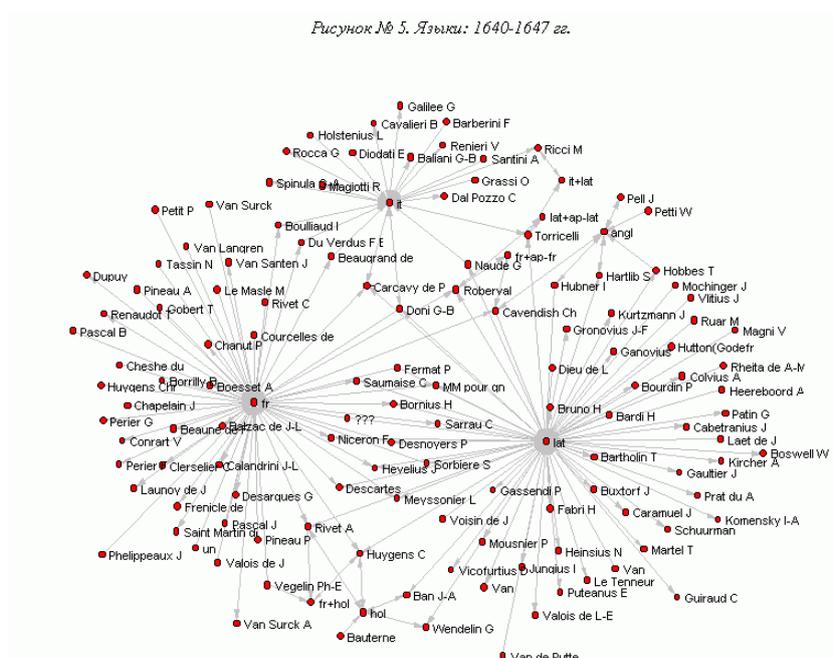
Рисунок № 4. Языки (Мерсенн — получатель):
1617-1630 гг.



В 1634-1635 гг. Мерсенн увлечен проектом “универсального языка”, который описывал бы все свойства вещей на основе музыкальных гармоний [20, с. 517-521]. С энтузиазмом отнесясь вначале к усилиям Плеяды по реформе французского языка, быстро приходит к выводу, что инерция обычая (*coutume*) слишком велика, и “надо дать свободу каждому писать так, как ему удобнее” [20, с. 520]. Невозможность искусственного конструкта разрешается в реальной практике научной коммуникации.

Мерсенн следит за информационным обеспечением своих коллег, распространяя научные новости по всей Европе. Он устраивает конкурсы на лучшее решение задач. (Выигравшему обещается денежный приз, сумма которого превышает возможности рядового монаха, деньги дают меценаты из числа персонажей круга [21].)

Организационное обеспечение всех “великих научных битв” этого времени — работа Мерсенна. Самыми известными и иллюстративными стали дискуссии, связанные с именем Декарта. Оба спора инспирированы Мерсенном. Всегда оберегающий социальный покой Декарта он не колеблется, когда дело касается его интеллектуального спокойствия. “Добряк” Мерсенн, который больше всего “любит науку, социальное спокойствие и Бога” [20, с. 578], сознательно идет на конфликт, разводящий его друзей по противоположным лагерям. “Сам он ... остается невозмутимым в гуще битв” [20, с. 49].



Это принципиальная позиция. Он не доверяет системам: “истина рождается только в столкновении (шос) идей” [20, с. 45]. Здесь им используется принцип эпистемологической относительности, разработанной схоластами в логике множественности миров [17, с. 329-330]. Но то, что для схоластической практики было по большей части декларативом, Мерсенн делает эпистемологической санкцией своей дискурсивной политики [20, с. 311-313].

И тут его лидерство признается безоговорочно.

В своих печатных работах Мерсенн — никакой стилист. И это отмечают самые близкие из его корреспондентов [20, с. 79-80]. Но при этом, коллеги, не воспринимающие Мерсенна как

ученого, всегда поддаются на его дискурсивные провокации. Монаху Мерсенну плохо удаются речевые акты. Коридор его адекватности — сфера речевых действий [См.: 22; 23].

Анализируя адекватность форм текстуальной организации научной практике этого времени, исследователи выделяют жанры диалога, “discorso” и научного письма, как ориентированные на работу в диалоговом режиме [16, т. 3, с. 194-198]. “Мерсенн был первым, кто использовал старый жанр литературного диалога для нужд научного изложения” [20, с. 583-584]. Но наибольший резонанс имеет его деятельность по переносу этой риторической техники в практику научной коммуникации. Диалогическая структура текста используется им для организации социальных интеракций. Подобно тому, как Галилей организует диалог своих литературных персонажей, обитатель кельи монастыря Пале-Руаль, используя сеть почтовых коммуникаций, режиссирует процесс научного общения реальных исследователей, “граждан Республики Ученых”. Мерсенн выводит диалог в предельную точку научной дискуссии.

Он — работник “среднего” уровня. Его эклектизм — не только свидетельствует о наличии неразрешимой множественности равносильных теорий в кругу одной дисциплины; но и является показателем того, что естествознание этого периода — территория свободного конвертирования гипотез, где четкие дисциплинарные демаркации отсутствуют. Процесс вербализации (медиации) охватывает все естествознание. Эклектизм Мерсенна не столько и не только показатель, но и проводник, и механизм этой экспансии на все области науки.

“Математические начала” Ньютона стали первой стройной грамматикой языка новой науки, дидактический эффект которой только усиливался латинским языком первого издания. Рассмотрим теперь, как формирующийся научный дискурс естествознания получает институциональное признание. После выхода в 1628 г. “Новой Атлантиды” Ф. Бэкона проекты создания “дома Соломона” становятся неременной частью

интеллектуальной атмосферы “Республики Ученых”⁶⁶. Сам М. Мерсенн создает подобный проект академии, и отчасти реализует его в своей “математической академии”. Огромное распространение по всей Европе имеют идеи Я. Коменского о “пансофическом колледже”. Под непосредственным воздействием этих идей, в распространении которых принимает активное участие член круга корреспонденции М. Мерсенна — С. Гартлиб (возглавлявший кружок почитателей Коменского в Англии до революции), возникает лондонский “невидимый колледж”, ставший затем одним из истоков Лондонского Королевского Общества. Экспериментальная философия Р. Бойля (автора термина “невидимый колледж” и активного его участника) стала идеологической программой сообщества естествоиспытателей второй половины 17-го века. Исследователи показали, как тесно методологическая основа бойлевской программы экспериментального знания (опирающаяся на юридическое понятие свидетельства очевидцев) была связана с организацией социальной солидарности научного сообщества [24]. Однако, эта программа действовала в уже институционально оформленных рамках Королевского общества и с использованием первого формального канала коммуникации сообщества новых естествоиспытателей — “Философских записок”.

Деятельность М. Мерсенна как центра “Республики Ученых” была еще целиком сосредоточена в неформальных рамках сети почтовых сообщений. Уже было отмечено, что новый коммуникационный механизм европейской почтовой системы позволял снять отрицательные эффекты патронажных отношений, задавая новые параметры социального пространства “Республики Ученых”. Но есть еще один, не менее важный для становления нового научного дискурса аспект. В отличие от персональных отношений и научных дискуссий, участники

⁶⁶ Характерно, что из всех работ Ф. Бэкона для “Республики Ученых” 17-го века оказались значимыми не его методологические сочинения (которые современники М. Мерсенна, и он сам, подвергли резкой критике), а именно “Новая Атлантида”, т.е. — социальный проект.

которых сходились лицом к лицу, опосредованный письменный диалог предъявлял его участникам совершенно иные требования к структуре и характеру аргументации. Шансы на успех здесь определяет не степень владения ораторским искусством, не социальная позиция патрона, авторитет которого “зависел от имплицитного и эксплицитного признания его права посредничества и разрешения диспутов среди его союзников, друзей и клиентов” [13, с. 80], а умение выстроить на бумаге линейную, связную цепь аргументов. Этот характер письменной коммуникации был осознаваем и ее участниками. В письме Пейреску от 15.07.1645 г. развивая свою концепцию научной академии Мерсенн пишет: “я хотел бы, чтобы у нас был такой мир, чтобы можно было основать академию, не только в одном в городе, как это делается здесь и в других местах, но если не во всей Европе, то хотя бы во всей Франции, которая поддерживала бы свои коммуникации посредством писем, которые часто более полезны, чем личное общение (entrepailleurs), где слишком часто разгораются споры о мнениях, что разделяет многих [25].

Новое естествознание формирует и апробирует свой лингвистический аппарат. В 17–м веке эта деятельность ведется в рамках личной корреспонденции. Вплоть до 1700 г. периодика остается маргинальным регистром научной коммуникации, дискурсивные стратегии которого ориентированы на информационный отчет и реферат. Вхождение ее в диалоговый режим осуществляется на протяжении всего 18–го века и проходит в ритме роста инфраструктуры периодической печати [26]. Через призму деятельности Мерсенна, проблема “научной революции 17 в.” формулируется как вербальная:

- Галилей дал правила вывода лексических единиц.
- Декарт — метод построения синтаксических конструкций⁶⁷.
- Мерсенн создал и актуализировал пространство артикуляции.

Изоморфная практике почтовой коммуникации, структура научного дискурса (требовавшая дискретно организованной

67 О различии социальных, эпистемологических и языковых стратегий Галилея и Декарта [14; 27; 16, т. 2; 28].

визуальной презентации и ответной реакции оппонента), послужила противовесом как цельному, эмпатическому характеру устного диспута, так и одинокому, медитативному чтению трактата. Это не означает того, что структура коммуникаций определила развитие дискурса новой науки, и структуру научного сообщества. Точнее будет сказать, что она задала параметры нового социального пространства, в которых оказалось возможным их дальнейшее развитие. Виртуальное пространство “Республики Ученых”, находящееся на периферии стратегических игр европейского общества 17-го в. именно за счет своей маргинальности, институциональной слабости и неопределенности, смогло предоставить “коридор свободы” для нового вида социальной и интеллектуальной деятельности. Именно в таком пространстве стало возможным обретение новой наукой своей лингвистической ниши, ее интеллектуальная эмансипация и институциональное строительство.

Литература

1. Eisenstein E. L. *The Printing Press as an Agent of Change*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 137.
2. Brown H. *Scientific organisation in seventeenth century France (1620-1680)*. Baltimore: 1934. p. 37.
3. Gauza P. *Les origines de l'Académie des Sciences// Troisième centenaire de l'Académie des Sciences*. P.: 1967. P. 1-57.
4. Копелевич Ю. X. *Возникновение научных академий (с. 17 — с. 18 вв.)*. Л.: 1974.
5. Stroup A. *A Company of Scientists. Botany, Patronage, and Community at the Seventeenth-Century Parisian Royal Academy of*

- Science. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. 1990. P. 29-33
6. Chartier R. Espace social et imaginaire social: les intellectuels frustrés au 17-e siècle// *Annales. Economies. Sociétés. Civilisations*: 1982. No 2. P. 389-400.
7. Горфункель А. Х. Ренессансные предпосылки возникновения классической механики// *Механика и цивилизация 17-19 вв. М.*: 1976. с. 25.
8. Rochot B. Le père Mersenne et les relations intellectuelles dans l'Europe du 17-e siècle// *Cahiers d'Histoire mondiale*: 1966. t. 10. No. 1. P. 67.
9. Ляткер А. Я. Декарт. М.: 1975, С. 170.
10. Тулмин С. Человеческое понимание. М.: 1984. С. 98-108.
11. Копосов Н. Е. Высшая бюрократия во Франции XVII в. Л.: Издательство ЛГУ, 1990. С. 141-142.
12. Kettering S. Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth Century France. New York, Oxford: Oxford University Press. 1986, P. 5.
13. Sarasohn L. T. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc and the Patronage of the New Science in the Seventeenth Century// *Isis*: 1993. Vol. 84. P. 70-90.
14. Biagioli M. Galileo, Courtier. The Practice of Science in the Culture of Absolutism. Chicago & London: The University of Chicago Press. 1993.
15. Ramati Ayval Harmony at a Distance: Leibniz's Scientific Academies// *Isis*: 1996. Vol. 87, No. 3. P. 431.
16. Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. М-Л.: 1933-1934. Т. 1-3.
17. Гайденок В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. М.: 1989.
18. Daston L. The Ideal and Reality of the Republic of Letters in Enlightenment// *Science in Context*: 4,2 (1991). P. 376.
19. Langree J. Mersenne traducteur d'Herbert de Cherbury// *Les études philosophiques*: 1994. No 1-2. P. 25-41.
20. Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mécanisme. P.: 1943.
21. Beaulieu A. Bibliographie// *Correspondance du père Maren*

- Mersenne. P.: 1988. t. XVII. P. 48.
22. Рябцева Н. К. Коммуникативный модус и метаречь// Логический анализ языка. Язык речевых действий. М.: 1994. С. 82-92.
23. Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов /Пер. с англ.// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М.: 1986. С. 242-269.
24. Shapin S. and Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump. Princeton: Princeton University Press, 1985, P. 22-79.
25. Correspondance du pape Maren Mersenne. P, 1932-1988., t. V, P. 301-302.
26. Bazerman Ch. Shaping Written Knowledge. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1988, P. 61-80.
27. Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента: от античности до 17 в. М.: 1976. С. 225-226.
28. Рябцева Н. К. Ментальный модус: от лексики к грамматике// Логический анализ языка. Ментальные действия. М.: 1993. С. 51-57.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 1

Социо-профессиональный статус

- Всего: 312.
- В 92 случаях информация слишком фрагментарна для использования.
- $x = 47$.

<i>Чиновники:</i>	A: 30 B: 29 C: 6 Всего: 65
<i>Священники:</i>	A: 8 B: 9 C: 18 Всего: 35
<i>Преподаватели:</i>	29
<i>Врачи:</i>	19
<i>Военные:</i>	2
<i>Издатели:</i>	3
<i>Прочие:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • астрономы: 6 • инженеры: 4

Для *Чиновников*: А — лица занимающие высшие посты в системе государственного управления, роба совета (le robe du conseil), магистраты верховных судов; В — королевские секретари, адвокаты, представители государственной администрации в провинциях; С — прокуроры, рядовые сотрудники посольств.
 Для *Священников*: А — кардиналы, епископы; В — аббаты; С — рядовые священники.

Таблица № 2

	<i>Дисциплины</i>
1. математика	77
2. физика	48
3. астрономия	20
4. музыка	17
5. философия	29
6. теология	35
7. медицина	22
8. химия	8
9. история	7
10. юриспруденция	2
11. политика	4
12. социология	2
13. экономика	2
14. древнегреческий, латынь	6
15. древнееврейский	5
16. ориенталистика	8
17. риторика, грамматика,	3
18. лингвистика	2
19. алхимия	4
20. астрология	5
21. демонология	1
22. *поэзия	11
23. *проза	6

Цифра указывает число человек из круга персонажей, специально занимавшихся данным предметом.

Таблица № 3

Таблица сравнения интеллектуальных интересов (%)

×	мат	физ	аст	муз	фс	тео	мед	хим	соц	фил	алх
мат	×	48	18	6	12	10	8	3	7	7	0
физ	75	×	15	13	23	17	20	6	8	2	0
аст	65	35	×	5	5	0	0	0	0	15	15
муз	30	35	6	×	12	18	6	0	0	0	0
фс	30	32	3	6	×	46	6	0	6	0	6
тео	26	22	0	8	40	×	3	0	6	15	0
мед	30	46	0	5	9	5	×	30	0	0	19
хим	15	37	0	0	0	0	87	×	0	0	37
соц	33	26	0	0	17	17	0	0	×	0	0
фил	21	4	13	0	0	21	0	0	0	×	8
алх	0	0	30	0	20	20	40	30	0	20	×

По вертикали — профессиональные занятия корреспондентов; по горизонтали — их серьезные увлечения. Например: из общего числа математиков 48% серьезно занимались физикой; из общего числа физиков 75% занимались математикой.

Таблица № 4

*Распределение интеллектуальных интересов по социо-
профессиональному статусу*

	мат	физ	аст	муз	фс	тео	мед	хим	соц	фил	алх
чин овн ики	20	12	2	3	3	0	0	0	5	6	2
свя щен ник и	3	2	2	6	3	23	1	0	0	7	0
пре под ава тел и	10	6	2	1	7	11	4	0	0	9	3
вра чи	4	2	0	1	0	0	10	8	0	0	4

Условные обозначения: мат — математика; физ — физика; аст — астрономия; муз — музыка; фс — философия; тео — теология; мед — медицина; хим — химия; фил — филология; соц — социальные науки; алх — алхимия и астрология.

Таблица № 5

Основные предметы преподавания

Основные предметы преподавания.		Основные предметы научных интересов.	
• математика	9	• математика	10
• физика	6	• физика	6
• музыка	1	• музыка	1
• астрономия	2	• астрономия	2
• философия	8	• философия	7
• теология	10	• теология	11
• медицина	5	• медицина	4
• древние языки	4	• древние языки	3
• риторика и грамматика	3	• риторика и грамматика	3
		• ориенталистика	3
		• астрология	3

Общее число преподавателей — 29.

Метафора в действии

Е.Р. Ярская-Смирнова
СПАЦИАЛЬНОЕ И ТЕМПОРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
НЕТИПИЧНОСТИ⁶⁸

Введение

*Я попытался стряхнуть с себя
гипноз места и посмотреть на неф
холодным взглядом. Теперь я уже не
искал откровения, я хотел
информации.*

*(Умберто Эко. Маятник Фуко.
Киев: ФІТА. 1995.С.15)*

По мнению Б.Верлена и А.Ф.Филиппова, “социология пространства связана с социологией тела; социология времени — с социологией смысла. Поэтому социологи, заинтересованные прежде всего в исследовании самостоятельной значимости культуры, смысловых образцов и т.п., более ориентированы на время. Напротив, те, кто большее значение придает телесности, потребностям, власти, ориентированы на пространство” (1). Однако по этой логике всякое рассуждение, имеющее смысл, ориентируется на время. В самом деле, “схема пространства и схема времени могут налагаться друг на друга: вещи внутренне созерцаются наблюдателем, со временем меняется значение тела;

⁶⁸ Настоящий текст помещен в сборник в авторской редакции. Редколлегия не решилась внести в него стилистическую или содержательную правку (за исключением устранения нескольких опечаток) в силу необходимости подробного согласования с автором вопросов относительно повествовательной структуры, синонимических удвоений, целесообразности двойной литерации имен и некоторых содержательных моментов — возможность которой отсутствовала. Посему факт публикации здесь и в этой форме придает тексту двойственный статус: эссе о теории и образца письма — читателю следует самому определиться в интересе к нему в том или ином качестве (прим. ред.).

в свою очередь, смысл выражается через телесные носители” (2). Кроме того, вряд ли возможно отделить социологию смысла от социологии тела, это равносильно попыткам посмотреть “холодным взглядом” на окружающие и пронизывающие нас символические нагромождения, следы эпох и “практик субъективации”.

Интерес к проблемам значений и смыслов в культуре, которые находятся в сфере гносеологического дискурса тождества и различия, нормы и отклонения, являющегося основанием многочисленных классификационных систем характерен для большинства школ современной социологии. Проблема классификаций — центральная для социологической науки, начиная с классических определений предмета социологии. Нас будет интересовать классифицирующий аспект процесса идентификации, и мы попытаемся рассмотреть спациональные (пространственные) и темпоральные (временные) характеристики чужого, другого, нетипичности.

Невозмутимая доброжелательность

Невозмутимость? Как столь же естественный, как всякий и любой естественный акт природы, выраженный либо познанный, совершенный в природе сотворенной природными тварями в соответствии с его, ее и их сотворенными природами, несходно-сходными. Как менее губительный, нежели катастрофическая гибель нашей планеты, нежели воровство, грабеж на большой дороге, жестокое обращение с детьми и животными, обманное получение денег, подлог, растрата, расхищение казны, злоупотребление общественным доверием,

*симулянтство, нанесение увечья,
растление малолетних, клевета,
шантаж, оскорбление суда,
поджог, предательство,
уголовщина, бунт на борту в
открытом море, нарушение права
собственности, кража со взломом,
побег из тюрьмы,
противоестественные извращения,
дезертирство из действующей
армии, лжесвидетельство,
браконьерство, ростовщичество,
шпионаж в пользу врагов короны,
самозванство, бандитский налет,
непредумышленное убийство,
умышленное и обдуманное
убийство. Как не более
аномальный, нежели все другие
параллельные процессы адаптации
к меняющимся условиям
существования, ведущие к
взаимному равновесию между
телесным организмом и его
окружающей средой, нежели еда,
питье, развившиеся привычки,
простительные слабости,
серьезные заболевания. Как более
чем неизбежное — непоправимое.
(Джеймс Джойс. Улисс// Иностранная
литература. №11, 1989. С.163-164)*

Обратимся к классическим работам Г.Зиммеля (З), чей вклад в социологию пространства за редким исключением пока не изучается должным образом. Крупные разделы “Социологии” Зиммеля (1908), — “Социология пространства”, “Социальная граница”, “Социология ощущений” и “Чужой” — посвящены анализу пространственных измерений социального взаимодействия и, более специфично, форм социальной дистанции, социальной, физической и психологической дифференциации. Пространственные формы, сталкивающиеся

друг с другом в социальной интеракции, включают, согласно Зиммелю, следующие пять основных качественных характеристик пространства: исключительность, или уникальность, пространства, границы пространства, фиксирование социальных форм в пространстве, пространственная близость и дистанция и движение пространства. Итак, главная идея Зиммеля — продемонстрировать, что именно социальное взаимодействие превращает то, что прежде было пустым и негативным, в нечто осмысленное для нас. Социальность наполняет пространство. Зиммель выделяет четыре типических пространственных формы, возникающие из социальных: структурирование пространства в соответствии с принципами политической и экономической организации; локальная структура, возникающая из отношений доминирования; фиксированные локальности как выражения социальных связей (то есть социальные единицы, локализованные в таких пространственных формах, как семья, клуб, воинский полк и профсоюз, каждая имеющая свой “дом”); пустое пространство как выражение нейтральности, “ничейная земля” государственных или метрополисных территорий.

Очевидно, что понятия дистанции и границ важны в любом социологическом исследовании пространства. Социальная дистанция — феномен, имеющий особое значение для Зиммеля, поскольку почти все социальные процессы и социальные типы, анализируемые им, могут быть поняты в терминах социальной дистанции. Доминирование и подчинение, аристократ и буржуа, все это имеет отношение к понятиям “вверху” и “внизу”. В самом деле, указывает Зиммель, такие понятия, как секретность, должность, бедный человек, чужак тоже завязаны на измерении “снаружи-внутри”.

Привлекая идеи Г.Зиммеля и Р.Штихве, проследим эволюцию темпорального измерения социальных отношений “свой-чужой”. Для родового общества характерны практики присвоения другого, время социального взаимодействия неделимо и амбивалентно. Двусмысленность этих отношений видно в колебании между значениями “гость” и “враг”, а также в семантике терминов “чужой”, “враг” и “раб” в древних языках. По истечении некоторого времени, иногда очень определенного,

статус гостя теряет силу, и он становится своим или даже рабом, инкорпорируется в общину или уничтожается. Здесь все механизмы направлены на то, чтобы как можно быстрее избавиться от факта присутствия чужого, который опасен тем, что ограничивает ресурсы общества. Однако этим механизмам противостоят широко распространенные во всех социальных системах институционализированные мотивы реципрокности, которые вводят в ранг нормы помощь и гостеприимство по отношению к бедным и чужим (4). В.В.Колесов (5) приводит анализ понятия чужого в языке Древней Руси. Чужой здесь — это чуждый, чудо, чудище, гость, странник. “Чуждестранние”, то есть иноземцы, враждебны, и каждый, кто побывал за рубежом, ища там спасения или помощи, дома навсегда останется под подозрением. Такой человек не просто странный, но чужой, хотя бы немного, но не свой. Чужой, кроме всего прочего, — это еще имущественные отношения: в “Русской правде” чужое имущество и чужие подневольные люди противопоставлены своим, своему. Хотя чужак, принимаемый в доме, был гостем (гость — лат. *hostis* — пришелец, чужеземец), он всегда оставался чуждым — непонятным и потому до конца неприемлемым. Заметим, что сделать чужака отчасти своим можно было, инкорпорируя его в род, отсюда — ритуалы совместной еды, символического разделения с чужаком супруги хозяина в поцелуйном обряде. Свой — всегда свой, он указывается безо всякой оценки и без уточнений. Достаточно того, что он твой друг, постоянно с тобой, твой родич и потому связан своей судьбой с тобой навсегда. Чужак на Руси, по мнению В.В.Колесова (6), всегда имел оценочные определения: это, поначалу, диво “чудное”, чудо-юдо, а потом и “странное” (ибо приходит с чужой стороны), а позже еще и “кромешное”, ибо таится в “укроме” и “окроме” нас, даже “опричь” нас, вне нашего мира — кромешная сила, опричное зло (“опричники”), которых остерегаются как чужого, странного, кромешного — чуждого.

В традиционных социально-дифференцированных обществах ситуация с чужаками совершенно иная. Возникающая здесь дифференциация социальной организации открывает для чужих так называемые “статусные лакуны”. Это позиции,

которые не могут быть заняты местными жителями по причине ритуалов и запретов на взаимодействие внутри социальной иерархии, табуированные виды профессиональной деятельности, посреднической деятельности, которой сложно овладеть из-за напряженности социальной организации. Время чужих течет по-иному, в их ролях присутствует момент инновации, но они всегда остаются изолированными в статусных нишах от пространства общественной среды, что уменьшает исходящее от них преобразовательное давление (7). Именно о таких отношениях пишет Г.Зиммель.

Вступая в диалог с Зиммелем, поместим понятие чуждости в контекст социального пространства, с характерным для этой традиции терминологическим аппаратом границ, групп и социальных связей: только оставшийся в каком-то месте странник дает повод к образованию единства “ближнего-дальнего”, поскольку возникает социальный статус, сочетающий принадлежность к месту и группе и независимость чужестранца. Чужак — это странник, который приходит извне. Он, следовательно, именно пространственно чужой, поскольку группа идентифицирует себя с определенным пространством, а пространство — с собою. Чужой появляется сегодня, чтобы остаться на завтра, но остается все тем же чужим, не может разделить с группой ее симпатии и антипатии и поэтому не только кажется опасным для существующего порядка, но и на самом деле “становится на сторону “прогресса” против господствующих обычаев и традиций” (8). В целом, чужой предстает как свидетель иной культуры. Близость и дистанцированность как реципрокные качества свойственны до той или иной степени всем формам отношений, в том числе и отношениям чуждости, однако в последнем случае между этими двумя полюсами возникает особое напряжение.

Современность характеризуется непродолжительностью и фрагментарностью социальных взаимодействий. Быстрота как отказ от доведения деловой процедуры до установления личных отношений между участниками взаимодействия становится признаком специфически современного стиля поведения. В современном обществе социальное обхождение с чужими и структурная закреплённость амбивалентности уже не связаны так

тесно между собой. Амбивалентность более не является основным модусом оценки чужого, она структурно закреплена в плюрализации ролевых отношений (где каждой отдельной роли сопутствует противоречивый набор норм), а сама категория “чужой” оказывается под вопросом. Чужой становится невидимым, вездесущим; чуждость “другого” распадается на отдельные фрагменты, функциональные сегменты, которые гораздо легче преодолеть в ситуации функциональной спецификации большинства социальных взаимодействий. По словам Зиммеля, “у человека, чуждого стране, расе, городу, культуре, подмечаются и акцентируются окружающими не индивидуальные качества, а те общие с другими чужаками свойства, которые у него существуют или могли бы существовать. Именно поэтому чужаки в реальности никогда не воспринимаются как индивидуальности, но лишь как определенные типы чужаков” (9). При этом индивидуализация и типизация другого становятся нераздельными: чтобы провести точную типизацию, подвести другого под определение, категорию, диагноз, необходимо учитывать индивидуальность, и *vice versa*. Граница бинарных различий “свой-чужой” или “друг-враг” теряет свою жесткость; третий, промежуточный статус становится почти универсальным, поглощая всех членов общества. Этот статус выражается категорией *индифферентности* (10), которая теперь выступает нашей нормальной установкой по отношению ко всем остальным.

Чужой уступает место другому, иному. Вместе с тем упомянутые индифферентность и растворение четких границ чужого как свойства современных социальных отношений означают скорее не переход к толерантности по отношению к инаковости и нетипичности, но к безразличию и невозмутимой доброжелательности, “молчаливой прозрачности, немому институту, действию без комментария, непосредственному знанию — великой неподвижной структуре” (11). На наш взгляд, именно здесь возникает важная для анализа нетипичности идея одиночества в толпе, впоследствии развитая E.Goffinan как *учтливое, или гражданское невнимание* (*civil inattention*), избегание близости, необходимое в современной городской жизни (12). Эта черта современности может быть названа

отношением тотальной чуждости в том смысле, что способность к поверхностным, текучим, ограниченным взаимоотношениям, тому, что вслед за Ш.Бодлером мы называем *фланированием*, становится ключевым условием выживания. В развитие научной дискуссии о социальной дистанции, начатой Зиммелем, исследуя особые формы маргинальности как социальной изоляции, Р.Ларк и Э.Бэрджесс поощряют Э.Богардуса на концептуализацию этого понятия в значении степени близости во взаимоотношениях между членами различных этнических групп. Объяснительный потенциал метафоры социальной дистанции вызвал к жизни мощную волну исследований неравенства, стратификационных систем, городских сегрегаций, специального (пространственного) поведения и одиночества (13).

Структурное закрепление амбивалентности в современном обществе хорошо видно на примере так называемых “помогающих профессий” (*helping professions*). Ориентация врача, социального работника, консультирующего психолога определяется “отстраненной заботой” (*detached concern*), видом эмпатического соучастия, которое сочетается с дистанцированностью. Неизбежно возникающие в такой ситуации этические дилеммы институционализируются в образовании и учебной литературе: нескончаемые колебания противоречащих друг другу норм приводятся в неустойчивое равновесие этическими кодексами профессии (14).

Этика равенства и универсальность различий задают парадоксы, метания и ограничения современности, которая, по словам Э.Левинаса (15), может считать себя как раз тем моментом культуры, в котором сама идея природы, мыслимая как столь важная для греческой культуры идея иного, чем человек, бытия, представляется целиком изобретением человека. Этическое пространство современности уже не удовлетворяет умопостижимость, понимание как снятие антагонизма между тождественным и нетипичным. Другая, этическая, альтернатива выдвигается Левинасом (16) в его философии бесконечности, — здесь для “Я” несхожесть другого человека, несхожесть чужого, с самого начала носит абсолютный характер, так что чужой является не просто в логическом и формальном смысле иным, а

ни к чему не сводимым другим, несхожесть и обособленность которого не поддаются никакому синтезу и предшествуют любому единству. Эта непохожесть и это абсолютное разделение проявляются, по Левинасу, в явлении лица, в предстоянии лицом к лицу. Это не мысль “о...”, а мысль “для...”, которая в не-безразличии к другому нарушает равновесие бесстрастной в познании души. Близость ближнего — это моя ответственность за другого. Ответственность за другого человека здесь не означает холодное юридическое требование. Это вся “тяжесть” любви к ближнему, культура, которая состоит в этической ответственности и обязанности, направленной на другого. В перспективе “рационального порядка” этическая ответственность иррациональна: как можно быть *для* Другой перед тем, как быть с Другой?

Этическая ответственность, размышляет З.Бауман (17), не имеет ни цели, ни причины (это — не результат “воли” или “решения”, не способ выживания или достижения бессмертия, скорее невозможность не быть ответственным за эту Другую здесь и теперь, которая конституирует мою моральную ответственность). В ней нет ни универсальных стандартов, ни заглядывания через чье-нибудь плечо, чтобы свериться с тем, что делают такие люди, как я. Парадоксально, но быть *вместе* значит быть *порознь*: “Она не кто иная, как не-я, место, занимаемое ею — это место, где нет меня”. Для “бытия с” необходим Закон или Этика, которая лишь маскируется под мораль, когда подражает Закону. Levinas имеет в виду это, когда указывает на хайдеггерово *Mitaeinandersein* — со-бытие: “mit” — это не тот предлог, которым должно описываться подлинное отношение с Другим. “Mit” конституирует онтологию, территорию без морали (18). Этика существует до онтологии: “до” значит “до этой упорядоченности”, до бытия, которое было упорядочено, устроено, оценено с каких-либо канонов и стандартов.

По мысли З.Баумана (19), конструирование этического пространства (*moral spacing*) происходит не по тем же правилам, что когнитивного (*cognitive spacing*). Этическое не полагается на предыдущие знания, не включает производство нового знания, не предполагает подключение человеческих интеллектуальных способностей и навыков — тестирования, проверки, сравнения,

подсчета, оценивания. По интеллектуальным стандартам когнитивного пространства, моральное выглядит “примитивным”. Объекты когнитивного пространства — другие, с которыми мы живем. Объекты морального пространства — другие, для которых мы живем. Эти другие сопротивляются любой типизации. Населяющие моральное пространство, они остаются вечно особенными и незаменимыми, то есть нетипичными.

Если в когнитивно картированном социальном пространстве чужак — это тот, кого знают совсем немного и желают знать о нем еще меньше, то в моральном пространстве — это некто, о ком не так уж сильно пекутся и не собираются заботиться больше. Чужаки в эстетическом пространстве, с их неизвестными, непредсказуемыми путями, с их калейдоскопическим разнообразием внешностей и действий, с их способностью удивлять, — особенно богатый источник удовольствия зрителя. Однако З.Бауман отмечает связь эстетического пространства с когнитивным: чужаки доставляют вам наслаждение, только если их чуждость удостоверена, если зрители уверены, что она не таит опасности. Эстетическое конструирование пространства в принципе может перерисовать карты когнитивного пространства, однако ничего не будет исправлено до тех пор, пока когнитивное пространство не гарантирует безопасность результатов. Эстетическое наслаждение, говорит Бауман, может состояться лишь в хорошо управляемом и контролируемом пространстве.

Возможно ли перечертить карты морального пространства, чтобы оно стало толерантным и безразличным по отношению к нетипичности, чтобы бытие-для-другого стало реальностью? Утверждение о некогнитивном способе этического восприятия мира имеет смысл, безусловно, лишь как идеальная модель отношений, поскольку с позиций социальной феноменологии именно знание конструирует социальную реальность. С нашей точки зрения, знание в этическом пространстве отличается от простой информированности в когнитивном: так, вряд ли можно рассчитывать на реальное изменение социальных отношений к инвалидам в положительную сторону лишь на основе большей

информированности общества об их проблемах. В этом смысле гадамерова идея “слияния горизонтов” (20) есть сущностная черта понимания незнакомой культуры. Это не отказ от собственного горизонта, карты, смыслов, то есть способа понимания реальности, убеждений, мировоззрения. Это также не означает, что человек как бы погружается в чуждый для него мир культуры, в чуждое общество. Сближение миров, по Гадамеру, необходимо для лучшего понимания точки зрения другого человека, что представляет собой основание позитивной коммуникации, взаимодействия с учетом контекста.

Воплощение нетипичности

*Поступить в университет спустя
два года после шестьдесят
восьмого — все равно, что быть
принятым в Академию Сен-Сир в
девяносто третьем. Такое
впечатление, что ты ошибся в
выборе даты рождения.
(Умберто Эко. Маятник Фуко.
Киев. ФІТА. С.58)*

Тело, как и территория, передает смысл через объективированные носители. Определяя положение тела в пространстве или очерчивая территорию, мы конструируем и реконструируем логику каузальных связей, объясняя, как и почему мы оказались именно здесь и в это время. Рефлексия “я в ситуации здесь-и-теперь” происходит в кризисные (от греч. crisis — решение, поворотный пункт, исход) периоды, как у героя У.Эко: “Единственное, что в такие моменты не изменяет, — это список белья, сданного в прачечную. Вернуться к фактам, перечислить их по порядку, определить причины и следствия. Я здесь по этой причине и еще по одной...” Кроме того, именно на знании о прошлом, на этом “списке белья, сданного в прачечную”, основана типизация в повседневном взаимодействии лицом к лицу.

Мы уже рассматривали, опираясь на результаты

исследований зарубежных ученых, как воспринимается человеком ситуация асимметрии или повреждений лица (21). Тот символический смысл, который приобретает для человека и его окружения деформация лица, имеет социальное происхождение, этот смысл — часть институционализированной матрицы значений, кода культуры и значит для человека гораздо больше, чем дефект сам по себе.

Матрица всех социально объективированных и субъективно реальных значений выступает символическим универсумом, в рамках которого разворачиваются такие явления, как целое историческое общество и целая индивидуальная биография. Символические универсумы легитимируют индивидуальную биографию и институциональный порядок. И как бы человек ни отклонялся от осознания этого порядка (здесь Бергер повторяет Шюца, имея в виду маргинальные жизненные ситуации, выходящие за рамки мира повседневности — сферы сна, фантазии, игры, научного теоретизирования, художественного творчества, душевной болезни), символический универсум позволяет ему “вернуться к реальности” — а именно к реальности повседневной жизни (22). Нас будут интересовать не *аномические*, а именно *номические* социальные процессы, поэтому мы воспользуемся принадлежащей П.Бергеру идеей, упорядочивающей функции символического универсума.

К номическим процедурам символического универсума, которые гарантируют предельную легитимацию институционального порядка, “все расставляют по своим местам”, следует прежде всего отнести ритуальную практику инициаций, жертвоприношений, уже упоминавшихся сепараций и очищений, любых символических актов, воспроизводящих акт творения порядка из хаоса. В самых различных культурных контекстах мы, по замечанию М.Элиаде, обнаруживаем одну и ту же космологическую схему, один и тот же ритуальный сценарий: “размещение на какой-либо территории уподобляется сотворению мира” (23). И типизация современного взаимодействия, в принципе, восходит к таким актам нормализации, исключения всего неподдающегося объяснению, определения в целях наведения порядка на своей территории.

Следовательно, исключение может быть понято как

исключение из правил, выселение с моей территории, из моего социального пространства других, которые, впрочем, могут быть близки физически (например, как показано у Зиммеля в работе “Человек как враг”), или отказ им в признании, принятии. Это означает, что я отказываюсь от получения нового знания о них и не позволяю им узнать меня. Однако, напоминает нам З.Бауман, другие, вытесненные символическим или физическим образом, остаются фоном воспринимаемого мира (24). То, что мы исключаем кого-либо из горизонта нашего бытия, еще не означает, что свою идентичность нам удастся построить самостоятельно: ведь не осознаем же мы подчас и то, что наше “я” создано рекламой и идеологией, и мы живем в мире псевдособытий и квазиинформации, насыщенном высказываниями, которые не истинны и не ложны, но просто вероятны.

Псевдосамосознание — так определяет К.Лэш (25) важное свойство современной культуры, культуры нарциссизма. Для нас, пытающихся закрыть глаза, чтобы не видеть других, но не замечающих, что они-то нас видят, формируют, типизируют, стигматизируют и тиражируют, частичная правда, впрочем, эффективнее, чем полная ложь. И мы требуем именно такой информации о нетипичности: мы можем посмотреть на нее лишь как на экзотическую инаковость, удаленную от нас, от нашей нормальности географически, социально или посредством диагноза, и потому как бы безопасную для нашей псевдоцелостной самости.

То, что в нашей дискуссии о нетипичности мы то и дело обращаемся к ритуалу, объясняется не только широтой и инструментальным удобством этого понятия. Более ста лет среди социологов, социальных и культурных антропологов, этнографов и философов идет спор о том, что находится в его центре, и где проходят границы, иными словами, что считать не-ритуалом, и как это отличить от почти-но-не-совсем-ритуального поведения (26). Существует множество определений — от отнесения ритуала исключительно к сфере религии и магии, толкования ритуала как символического аспекта рутинного поведения до отождествления с особым измерением всех форм социального поведения (например, изучают ритуальные аспекты подачи

сигналов водителями на поворотах или коллективного просмотра телепередачи).

Ритуал важен в его стратегической культурной функции создания отличий, дифференциации одной деятельности от другой, например, сакральной от профанной. Вопрос, который нас интересует: каким образом и с какой целью человек действует так, чтобы придать некоторым видам деятельности привилегированный статус в сравнении с другими? Тогда имеет смысл говорить о ритуализации как о способе действия, проявляющемся в разнообразии культурно-специфических стратегий, практик, существующих для того, чтобы отличать и наделять привилегиями одни действия в сравнении с другими, что, в конечном счете, позволяет увеличивать власть социальных акторов. Категория практики, ставшая ключевой не только для марксизма, но также лингвистической философии, других философских школ и социокультурной антропологии, представляется наилучшим инструментом для изучения ритуализации как способа действия.

В этой связи фундаментальным для нашего анализа проблемы нетипичности является то, что ритуализацию можно представить через производство ритуализированного тела, которое, в свою очередь, производит ритуализированные практики (27). Ритуализация воплощается в динамической социализации тела, определяемого в символически структурированном инвайронменте, а точнее, в интеракции социального тела с хронотопом как символически конституированным пространственно-временным универсумом.

Проблема телесности привлекается здесь нами в качестве феноменологической возможности развития области понятийных значений другого (другой). Тело другой в повседневном взаимодействии лицом-к-лицу отражается в моих глазах как нетипичное, так же, как и мое собственное тело в глазах другой прежде всего сверяется, сравнивается с имеющимся каноном, типом.

Если использовать классическую семантическую дихотомию, противопоставляющую тело культуре (тем самым тело попадает в символический ряд *другой-чужой-иной-природа-тело*, противоположенный ряду *я-свой-тождественный-*

культура-разум), то тело субъекта может рассматриваться как потребляющее культуру, так и потребляемое культурой. В ритуалах, связанных с едой, например, присутствует семантика потребления, согласно которой субъект, принимающий пищу, в процессе совместного обряда сам инкорпорируется в сообщество, принимается в знаковое пространство культуры, способствует социальной идентификации субъекта.

Потребление пищи, особенно в культурах с высокой степенью знаковой формализации, тождественно потреблению культуры. Употребление наркотиков в некоторых культурах и субкультурах играет аналогичную роль, поскольку маркирует отношение к собственной субъектности через самопотребление, инкорпорирование в социальный порядок. Личная идентификация субъекта также связана с отношением к собственному телу и может быть прослежена, например, в контексте потребления пищи как процесса конструирования самости.

Продолжая логику дихотомии тело/культура, эту последнюю идею можно развить в связи с практиками ритуализации, связанными с диетой и другими способами дисциплинирования тела в угоду требованиям культуры. Противопоставление живого тела и тела как объекта культуры — это не только теоретическая фикция, абстракция, пригодная для мыслительных спекуляций. Когда живое тело становится объектом культуры, оно попадает под действие объективирующего дискурса, определений, устанавливающих правила ограниченного существования тела. Это может быть биологический, физический, физиологический, лингвистический, анатомический дискурс, и каждый из них требует некий идеальный тип телесности, который не совпадает с субъективными переживаниями телесного опыта. Тем самым ограничивается автономия действий целостного единства живого тела и происходит процедура идентификации, а, следовательно, обладания собственным телом путем соотнесения в образах внутреннего переживания с идеальным телом другого (или другой), телом-каноном.

В большинстве случаев соотнесение себя с внешним телом и идентификация с ним осуществляется неосознанно:

следуя нормам идеального тела, мы дисциплинируем себя, различая правильные и неправильные использования человеческого тела. Именно телесный канон указывает, что можно, а что нельзя, что является нездоровым проявлением, а что пристойным и желательным, что является преступным и воплощает зло, а что выражает собой доброе, чистое, необходимое. Работы М.Фуко открывают археологический поиск различных видов телесных практик — практик реализации, интенсификации и распределения власти (психиатризации, сексуальности, медикализации, дисциплинирования и наказания) — как социально установленных способов, традиций, правил познания другого.

Археологическое измерение — “путешествие, которое омолаживает вещи и старит отношение к себе” — позволяет писать историю истины, то есть анализировать не поведения, не идеи, не общества и их идеологии, но, как говорит Фуко, *проблематизации*, через которые бытие дается как то, что может и должно быть помыслено, а также — *практики*, исходя из которых эти проблематизации формируются. Это значит анализировать проблематизации безумия и болезни, исходя из медицинских и социальных практик, проблематизации сексуальности — через практики самости (например, способа подчинения себя, которым индивид устанавливает свое отношение к правилу и осознает себя связанным с обязательством его отправлять), проблематизации преступления и преступного поведения, — исходя из определенных практик наказания, подчиняющихся некоторой дисциплинарной модели (28).

Дисциплина создает из тел, контролируемых ею, четыре типа индивидуальности, или скорее индивидуальность, наделенную четырьмя характеристиками: она распределяет пространство, кодирует деятельность, аккумулирует время и особым образом комбинирует усилия (29). Начиная с XIX столетия, дисциплинарная власть индивидуализируется, регулярно помечая исключенных в психиатрическом приюте, пенитенциарии, исправительном заведении для малолетних преступников, вспомогательной школе, и до определенной степени, в госпитале. Вообще, всякая власть, реализующая

индивидуальный контроль, по мысли Foucault (30), функционирует по бинарной модели разделения и клеймения (сумасшедший-здравомыслящий, опасный-безвредный, нормальный-аномальный), принудительного предписания и дифференцированного распределения субъектов (кто он, где он должен быть, чем он должен отличаться, за кого его должны почитать, как индивидуализировать постоянный надзор за ним и пр.).

В результате каждый человек приобретает как бы социальное тело, становится отличным от других социальных тел; в соответствии с установленными правилами этому телу приписываются привилегии или оно депривируется от них, тем самым происходит реализация и воспроизводство властных отношений. Современная типизация, в конечном итоге, приписывает каждому типу личности и типу действия экономическую стоимость — в этом мы соглашаемся с мыслью Л.Г.Ионина. В отличие от архаического сообщества, где мышление партиципательно (31), и социальное тело как бы становится множеством тел (32), комплексом значений, в современной повседневности идентификация индивида с типом личности и типом действия происходит в соотношении с телом-каноном, выраженным, в стоимостном эквиваленте, делая социальное тело одиноким, нарциссистским, как бы автономным и непроницаемым для других тел.

Если акт узнавания в повседневной ситуации лицом-к-лицу предполагает приписывание типов, и если мы согласимся с тем, что у этой акции, очевидно, есть много сходного с практикой ритуализации, то объективируемый в процессе узнавания индивид должен получить вместо физического тела некий тип, некое социальное тело, отвечающее типическим представлениям о его частях, свойствах, деталях. Социальное приписывание — это своего рода насилие, и оно оставляет свои отметины — шрамы, увечья и татуировки, идентифицируя индивида с сообществом, тотемом, записывая в диаграмму его памяти знание о том, что можно и что нельзя.

Социальный запас знания включает, по Бергеру (33), знание моей ситуации и ее пределов. Социальный запас знания как биографический и исторический опыт объективируется,

сохраняется и накапливается в рамках заданных семантических полей, тем самым образуя когнитивную топографию мира, где помечаются его границы и прокладываются маршруты. Когнитивный маппинг (картографирование) мира дифференцирует реальность по степени знакомства или анонимности. Мы получаем более подробную информацию о тех секторах повседневной жизни, с которыми часто имеем дело, и менее точную — об удаленных секторах.

Это карта, предоставлявшая в мое распоряжение необходимые в повседневности схемы типизаций — типизаций других людей, любого рода событий и опыта. Эта же карта-схема служит нам для типизации себя. На реципрокном аспекте типизации заостряет внимание Шюц: когда мы конструируем другого как исполнителя типичных ролей и функций, во взаимодействии с которым мы участвуем, параллельно развивается процесс самотипизации, и формируется то, что мы затем принимаем за нашу индивидуальность. По словам П.Бергера, человеческое достоинство — это вопрос социального дозволения. Мы все ошибаемся в выборе даты рождения: “человек рождается всегда не под тем знаком, и достойно существовать в мире — это значит день за днем исправлять свой гороскоп” (34).

Феноменологическая граница территории подобно границе тела, коже, играет роль рамки-протектора, которая не столько разделяет, сколько *соединяет* и соединяет тем, что выступает дифференцирующим порогом возбуждения (35). Значимый другой Дж.Г.Мида с этой перспективы подобен коже. Этот другой защищает, утверждает меня в моей самости, в его глазах я конструирую и подтверждаю свою идентичность, но вместе с тем он может оказаться самым опасным врагом моей индивидуальности. Максимизируя уровень защиты, мы в то же время подвергаемся риску поражения, гибели, ошибки. Желая плоти Другого, чтобы проявилась собственная (36), мы подвергаемся дубликации, становясь взаимозаменяемыми двойниками.

С нашей точки зрения, вряд ли можно согласиться как с вариантом о несубъектном понимании нашего перцептивного двойника, другого, так и с классической версией, что в мире

априори есть субъект как универсальная мера всему неравному, чуждому, невозможному. По мнению В.Подороги, “этот предел-граница, это множество следящих за мной глаз ни на шаг не продвигают нас к пониманию Другого как феномена трансцендентальной схемы инаковости, ибо в мире уже есть субъект как универсальная мера всему неравному, чуждому, невозможному” (37). Однако, на наш взгляд, именно здесь, на пределе-границе, может реализоваться диалогическое отношение Я/Другой, которое, становясь осознанным, делает понятие равных субъектов реальностью.

На языке теории социального влияния (Б.Равэн) это можно проинтерпретировать как то, что членство в группах меньшинств не обязательно синонимично поражению (38). Меньшинство также оказывает влияние на социальное большинство, и в терминологии теории социальных представлений (С.Московичи, Г.Филоджин) происходит натурализация самоназваний группы, сопровождаемая глубокими сдвигам в системе восприятий аттитюдов и мнений (39). Аналогично, превращение стилей субкультуры в моду, адаптированную большинством, нивелирует различия и способствует большей проницаемости символических границ между социальными группами. Вместе с тем, это также ведет к реконфигурации властных отношений, ибо нарушает автономизацию субкультуры, эту нишу маргинальной идентичности: таким образом, современное общество продуцирует новые, изошренные символические формы контроля за отклоняющимися, причем эти формы наказания, дисциплинирования и контроля проникают в социальное тело глубже, нежели физические, видимые, утилитарные.

Говоря о границах понятий, нормах и рамках повседневности, важно подчеркнуть, что граница когнитивной карты не столь актуальна, абсолютна, сколь потенциальна, относительна. Изменяя в каждое последующее мгновение предыдущий образ мира, граница понятий оказывается подвижной, что детерминирует коммуникативную функцию культуры вообще и практик ритуализации, в частности. Вместе с тем, эти процессы очень часто происходят автоматически, неосознанно для участников социальной интеракции.

Именно об этом напоминает нам А.Шюц (40), говоря, что конструкты здравого смысла, используемые для типизации другого и для самотипизации, имеют по преимуществу социальное происхождение и социально санкционированы, набор предписаний о типах личности и действия воспринимаются как нечто, само собой разумеющееся. Более того, типические конструкты часто институционализируются в качестве стандартов поведения, поддерживаемых разнообразными формами социального контроля. Такая типическая поведенческая модель институционализована, стандартизирована с помощью законов, правил, норм, обычаев, традиций и реализуется в практиках ритуализации, учреждающих иерархический порядок социальной организации.

Заключение

*Где-то я читал, что в самый
последний момент, когда жизнь —
поверхность на поверхности —
уже покрыта налетом опыта, ты
знаешь все... Ты мудр. Но высшая
мудрость в этот момент
заключается в том, чтобы знать,
что ты узнал слишком поздно.
Понимаешь все, когда уже нечего
понимать.*

*(У.Эко. Маятник Фуко. Киев. ФІТА.
1995. С.739)*

Подведем итоги. Нетипичность, в широком смысле понимаемая как бесконечность, как отсутствие любой упорядоченности, конкретизируется в формах неравенства, нетождественности, ненормированности и возникает на зыбкой онтологической границе когнитивных карт взаимодействующих социальных субъектов. Повседневное взаимодействие влечет исключение сторон, свойств, аспектов целостной субъектности, конструирование типизированной идентичности. По завершении акта идентификации ситуация становится узнаваемой, она может

быть неприятной, но типичной.

Одновременно с типизацией ситуации происходит типизация другого и самотипизация Я, таким образом, отношения Я/Другой находятся в герменевтическом круге формосозидания и разрушения, нуждаясь друг в друге и подпитываясь от контекста социальности. Такие определения ситуации, как конфликт интерпретаций, позитивная коммуникация или слияние горизонтов, передают различные формы властных отношений, реализуемых в акте идентификации как присвоения другого. Власть, понятая в ее горизонтальном измерении, как поддержка и влияние, устанавливается совокупностью правил, которые ограничивают и преодолевает конфликт, но сводятся к тем же структурам типизации. Типизация, таким образом, может работать как на воспроизводство социального неравенства, так и на установление дискурса равенства. С позиций постсовременной морали, другие не должны типизироваться на основании “социальной мудрости”, априорного знания о них, ограниченного стереотипным репертуарным набором социального взаимодействия. Другие суть бесконечный источник знания о субъектности.

Приписывание места-статуса, маркировка территории суть выражения ритуализации исключения одних в пику другим, акт интенсификации власти и освящения социальной структуры. Категория нетипичности выступает как общее понятие, отражающее одновременно “всеобъемлющую непрерывность жизни” и все границы в-себе-бытия индивидуальной формы, определяемые в науке и повседневной практике через особенность, ненормативность, девиацию, маргинальность, патологию, аномалию.

На наш взгляд категория нетипичности выступает не только инструментом социологического анализа. Она служит развернутому взгляду на феномен социального неравенства, способствует развитию социологической модели объяснения природы социальных структур и роли культуры в развитии общества. В частности, дискуссия о пространстве и времени нетипичности полезна в исследованиях инвалидности, межэтнических, расовых и тендерных отношений.

Литература

3. См. Филиппов А.Ф. Элементарная социология пространства// Социологический журнал: 1995. №1. С.53.
4. Филиппов А.Ф. Указ.соч. С.54.
5. Simmel G. The Stranger// Georg Simmel. On Individuality and Social Forms /Ed. by D.L.Levine. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1971. P. 143-149.
6. Штихве Р. Амбивалентность, индифферентность и социология чужого// Социология и социальная антропология: 1998. №1. С.43.
7. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1986. С. 62-68.
8. Там же.
9. Штихве Р. Указ.соч. С. 44-45.
10. Филиппов А.Ф. Обоснование теоретической социологии: введение в концепцию Георга Зиммеля// Социол. журнал. 1994. № 2. С. 80.
11. Simmel G. The Stranger. P. 148-149.
12. Штихве Р. Указ. соч. с.48-49.
13. Foucault M. Madness and Civilization. A history of Insanity in the Age of Reason. New York: Vintage, 1988. P.xii.
14. Goffman E. Civil Inattention and Face Engagements in Social Interaction. In: Human Societies. A Reader. /Ed. By A.Giddens. Cambridge, Oxford. Polity Press. P.17-22.
15. См., напр.: Loneliness: a Sourcebook Current Theory, Research, and Therapy /Ed. by Peplau L.A., Perlman D. New York: Wiley, 1982; Spatial behaviour of older people /Ed. by Pastalan L.A., Carson D.H. Ann Arbor: University of Michigan, 1970.
16. См. Ярская-Смирнова Е.Р. Профессиональная этика

- социальной работы. Учебное пособие. М.: Ключ-С, 1998.
17. Левинас Э. Философское определение идеи культуры// Общество и культуры: философское осмысление культуры. М.: АН СССР, 1988. Ч. 1. С.39.
 18. Левинас Э. Указ.соч. С.47-49.
 19. Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford, UK, Cambridge, Mass: Blackwell, 1993. P. 13, 52, 53.
 20. Bauman Z. Ibid. P.70-72.
 21. Bauman Z. Ibid. P. 165,167-168.
 22. См. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.
 23. Смирнова Е.Р. Семья нетипичного ребенка. Социокультурные аспекты. Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1996. С. 126.
 24. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: 1995. С. 159-160.
 25. Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1994. С. 37
 26. Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford, UK, Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993. P. 146.
 27. Lasch C. The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York, London: W.W.Norton & Company, 1991 [1979].
 28. Подробный обзор этих определений см.: Bell C. Ritual Theory. Ritual Practice. New York, Oxford: Oxford University Press, 1992.
 29. Bell C. Ritual Theory, Ritual Practice. P. 93.
 30. Фуко М. Использование удовольствий. Введение // Мишель Фуко. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. С. 281-282, 299.
 31. Foucault M. Discipline and Punish. P. 167.
 32. Foucault M. Ibid. P. 199.
 33. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994.
 34. Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М.: Ad Marginem, 1995.
 35. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. С. 72-74.
 36. Эко У. Маятник Фуко. Киев: ФІТА, 1995. С.58.
 37. Подорога В. Феноменология тела. С. 46.

-
38. Там же. С. 42.
39. Там же. С. 143.
40. French J.R., Raven B.H. The Bases of social power. Studies in social power: 1972, Vol.6. NewYork.
41. См.: Якимова Е.В. Социальные представления: теория, критика, практика (сводный реферат)// Рос. журн. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: 1995. Серия 11. № 4. Социология. С. 79-98.
42. Шюц А. Структура повседневного мышления// Социол. исслед.: 1988. № 2. С. 129-137.

Научное издание

**Пространство и время в современной социологической
теории**

ЛР № 040843 от 01.09.97

Оригинал-макет изготовлен в редакционно-издательском отделе
Института социологии РАН